

КРИТИЧЕСКАЯ МАССА

*Несовершенное мое видесте очи Твои,
и в книге Твоей все напишутся,
во днех созиждутся и никтоже в них.*
Пс.138, ст. 16

Часть первая

...и крыло мухи имеет вес...
Иеросхимонах Аристоклий Афонский

1

- Значит, вот ты какой.
- Что удивляет тебя, Наставник?
- Я не умею удивляться. Я просто говорю о том, что вижу: тебя прислали ко мне ко мне Учеником – на вторую ступень. Ты – из Пришедших.
- Прости, я еще не привык. Вернее, не до конца разучился.
- Это ты прости – я думал, ты не до конца выучился.
- Я не о том, Наставник. Я имел в виду, что я не до конца разучился чувствовать. И предполагать чувства в других.
- Тем вы и отличаетесь от Изначальных. Мы умственны и не знаем ваших бед. Но это пройдет, не сомневайся... На предыдущей ступени ты ведь не одно прижизненное Хранительство изучал?
- Не одно, Наставник. Я и на Мытарствах был. Но лишь как наблюдатель. Мы с Хранителем больше всего боялись за пятое...
- Как обычно...
- А не уберегли уже на третьем... Все отдали, ну и...
- Можешь не рассказывать. Когда я был Хранителем, мне случалось терять своих прямо на первом. Вы в каком веке работали?
- В двадцать третьем от Рождества Христова...
- Так ваш подопечный, считай, праведник, если вам удалось его в такое время до третьего поднять... А сам ты – Пришедший – из какого века?
- Из семнадцатого. Но там от Сотворения считали. Едва-едва седьмое лето не перешагнул – и...
- Хорошо, что не успел. Тогда не быть бы тебе с нами. А из каких весей?
- Из Московии, Наставник. Тогда как раз...
- Знаешь, Ученик, Изначальные говорят, что от вас, Пришедших, нужно держаться подальше, чтоб не заразиться чувствами. Я сейчас, право, улыбнулся бы, если б знал, как это делается.
- Почему? Там тогда было вовсе не забавно – там как раз...
- Там никогда не было и не будет забавно, там всегда что-нибудь «как раз» – это тебе не Византия. А улыбнуться можно было бы только от радости за тебя. Ведь именно туда мы с тобой сейчас и отправляемся... На твою земную Родину, в стольный город Москву...
- Нет... Это вовсе не радость. Я бы не хотел вновь увидеть свою мать – там, зная, что... Видишь ли, я ведь не встретил ее здесь – нигде. Ни на Мытарствах, ни... выше. Ее нет. Совсем.
- Ну, значит, она либо там, куда даже нам по чину не разрешено подниматься, либо не прописана в Книге, только и всего. Второе, как ты и сам знаешь, гораздо вероятней.
- Тебе не понять, Наставник. Прости.
- Да. И не хотелось бы понять однажды. Но ты напрасно беспокоишься: мы идем на этот раз не в семнадцатый век, а в двадцатый. Итак. Я покажу тебе работу Встречающего. С Хранителем ты посмотрел на Мытарства. А я тебе покажу, что **внутри**. Что происходит с теми, кого Хранители теряют. Они теряют, а мы – принимаем, потому что человек никогда не остается без помощи, даже там. Потом ты сам решишь, кем станешь – Хранителем или

Встречающим. А может, выберешь и другую стезю. Но Пришедшие все-таки чаще всего предпочитают одно из этих служений... Конечно, до того тебе дадут самостоятельно побыть и тем, и другим – если заслужишь...

- Наши подопечный – мужчина или женщина?

*- Женщина. Она умерла в шестидесятом году двадцать первого века, в возрасте девяноста четырех лет. И нам надо поторопиться, потому что краткий отдых, разрешенный ей, заканчивается, ее сейчас разбудят **те**. Вот она, смотри... Просыпается. В семьсот тридцать шесть тысяч четыреста девяносто второй раз.*

Девочка считала, что ее имя – это первое, с чем ей основательно повезло: пока что только раз в жизни она встретила обладательницу такого же сокровища, но ее смело можно было не принимать в расчет. Ибо другая Инна, с мокрым от восторга подбородком, вышагивала на помочах по коридору детской поликлиники, ведомая, будто щенок боксера в шлейке и при поводке, гордой и строгой бабушкой, увенчанной рубиновой брошкой, как кремлевской звездой. В одиннадцать лет она вычитала у Куприна, что имя ее – парадоксально мужское. Это было второе везение: ведь всем известно, что мужчиной быть лучше, потому что он – если настоящий мужчина – то командует, а женщиной – легче, потому что за нее делают всю тяжелую и грязную работу – если она настоящая женщина, разумеется. Но ведь можно научиться совмещать то и другое... Тут могла помочь третья удачно, шестеркой выпавшая кость: отражение в зеркале. В свои тринадцать Инна прочитала уже столько книг, что научилась наблюдать окружающую жизнь сквозь совсем не детский прищур и сумела сделать наиважнейший вывод: подлинная красота только помешает в жизни стоящему человеку. Удача – это когда ты видишь в зеркале приятное лицо без вызывающих изъянов – будь то уродливый нос или мохнатое родимое пятно – лицо, которое ты потом сама сделаешь таким, каким тебе будет нужно. А красавица... Она может рассчитывать только на одно: быстро выйти замуж по своему выбору, а там... А там – ничего. Киндер, кюхе, кирхе. И однажды повеситься в туалете.

У Инны были гладкие русые волосы, стриженные под «сессун», большие серые глаза, прямой тонкий нос и умеренно пухлые губы. У них в классе учились девочки гораздо красивее – кудрявые, глазастые, чернобровые – а вот записки с гадкими и соблазнительными словами и рисунками мальчишки клали только в ее парту. Это в нее метили из пластмассового корпуса авторучки жеваной промокашкой, ей как-то раз вылили суп в портфель – но ей же и подбросили туда однажды заботливо очищенную от жестоких игл веточку белого шиповника... Это именно ее, в конце концов, девчонки инстинктивно ненавидели – но она-то читала уж как-нибудь побольше их, и прекрасно знала, почему... Да потому что из них еще неизвестно, что и когда получится, и получится ли вообще, а она уже – состоялась. Женщина с мужским именем...

Она проснулась оттого, что, уютно повернувшись в постели на традиционный «бочок», угодила глазом прямо в широкое солнечное пятно, расплывшееся по подушке. Обманчиво-яркое, будто летом, но безлико-холодное, как и положено в середине ненавистного сентября. Ужасное, потому что в ту же секунду Инна, еще пребывая почти во сне, припомнила, что учебный год, для нее – седьмой, только начался, а значит, перед ней разверзается целая вечность тоски и ежедневного отвращения. И это еще не все: пришел самый подлый день недели – суббота. День, когда все нормальные люди могут спать до обеда, и только подневольные школьники (ну, еще студенты – да на тех плевать, они взрослые и все равно живут, как хотят) обязаны подниматься в любую погоду... О, нет! Инна решительно отодвинулась от солнечного зайца – скорей, жирного кролика – разлегшегося на ее подушке, как у себя дома, и закрыла глаза... Хоть пять минут... Все равно сейчас придет мама – и начнется: «Инна, вставай сейчас же! Ты что, с ума сошла – до сих пор валяться!». Но вдруг сердце возбужденно подскочило: мать не обязательно проснется сейчас! Инна вспомнила, что глубокой ночью, поднявшись в туалет, она поддалась соблазну проверить одну редкую, но славную операцию: в темноте, не скрипнув предательницей-половицей, не задев бедром подлокотник легкого, всегда ворчливо ерзавшего в таких случаях кресла, прокралась в мамину комнату и точным движением «придушила» взведенный, как курок дуэльного пистолета, ее верный звучный будильник. «Тук, тук, таки-токи», – не прервал своего вкрадчивого монолога он, а девочке удалось выскользнуть так же бесшумно. Теперь зловещный прибор не зазвонит в половине восьмого утра – мама вполне может проспять аж до десяти – и тогда буквально ворвется в комнату дочери поздним утром: «Инна, вставай, мы проспали! Я будильника не слышала!» – и можно будет покапризничать: «Из-за тебя контрольную по русичу пропустила! Между прочим, «пятерка» была почти в кармане! И вот, пожалуйста...». В конце концов, мама хмуро спросит:

«Сколько уроков ты теперь пропустишь? Только к середине третьего попадаешь в школу? А четвертый какой? Рисование? А пятый есть? Пение? Хм... – тут она состроит знакомую обнадеживающую гримаску с намеренно глупо вытаращенными глазами, поднятыми донельзя бровями, выпученными губами при несомненном главенстве верхней и напряженным подбородком, пошедшим мелкими частыми ямочками. – Ну и ладно, зачем тогда вообще огород городить, сиди уж дома...».

Но только успела вдохновленная надеждой Инна в подробностях просмаковать выпуклую мечту, как спиной почувствовала легкое дуновение ветра от распахнутой двери – и голос матери торжествующе зазвучал на пороге: «Инна! Мы чуть не проспали! Но меня вдруг ка-ак подбросит! Ка-ак подбросит! У меня ведь – «сутки» сегодня плюс студенты в отделении! Вот была бы история! Смотрю на часы – без четверти! Но ничего! Успеем! Наскоро ополосни лицо, а я пока быстро глазунью пожарю!». «Ну и обошлись бы там без тебя лишних пару часов в твоей больнице... Чай, не уволили бы... – раздраженно подумала девочка, со стоном отбрасывая одеяло. – Тоже мне, профессор кислых щей...».

Мама ее, Алла Юрьевна, работала врачом-гинекологом в клинике Первого Медицинского института, параллельно занимаясь какими-то невнятными научными исследованиями, и, когда удавалось, подрабатывала левыми абортами, честно деля в таких случаях на троих с подружкой-анестезиологом и надежной акушеркой полученный по твердой негласной таксе хрустящий – или совсем занюханый – фиолетовый четвертной. К мужчинам она испытывала нечто вроде снисходительной ненависти – за то, что ни один из них не сумел разглядеть в некрасивой долговязой девушке с водянистыми глазками ее таких очевидных ей самой душевных достоинств и не догадался хотя бы полусерьезно поухаживать за ней; ну, а женщин презирала на вполне законных основаниях – за их животную зависимость от мужского внимания – и за то, что всех ее пациенток это внимание хоть раз, да не обошло. «Что, больно? – с удовольствием спрашивала она «неблатных» абортисток, которым полагалась лишь условная, местная анестезия. – А с мужиком в постели кувыряться не больно было?».

Дочку свою, Инночку, она заполучила случайно, после того, как, бурно отметив в ресторане на улице Горького с одноклассниками пятнадцатилетие окончания школы, она неожиданно проснулась поздним утром в чужом деревянном доме, на железной кровати с никелированными шишечками (*- Так, на всякий случай, Ученик, наблюдай земные парадоксы: через сорок три года, когда домик давно уж от старости развалится и будет покинут вместе с этой ржавой кроватью – вон от той левой металлической трубки забежавшие поиграть ребятишки откруют, наконец, шишечку. В трубке что-то загремит, и они заинтересуются. Окажется, что там спрятано несколько тяжелееньких свертков в промасленной бумаге, в виде таких колбасок, я сам видел: Хранителем у одного из мальчиков был, уже на восемнадцатом Мытарстве потерял его – так жаль было, думал, дотяну – редко ведь кто до той высоты сразу поднимается... Так вот, в каждой «колбаске» было завернуто по сорок золотых царских червонцев... Если хочешь, можем сейчас посмотреть, кто и когда их туда положил.*

– Не хочу, Наставник, если ты не возражаешь. Это ясно даже мне. А имя... Там тот человек свои червонцы назад не получил – а уж здесь они ему тем более не пригодятся.) среди горы вышитых думок, под тусклым фотографическим портретом крестьянина в пиджаке и косоворотке. Рядом, разинув белозубую, как у молодого пса, пасть и выложив на лоскутное одеяло темно-коричневую трудовую пятерню, оглушительно храпел смутно знакомый мускулистый пролетарий – и парной запах его здорового пота вызвал у Аллы отчетливый приступ тошноты. Сделав усилие, она с изумлением опознала Витьку-Как-Его-Там, трижды второгодника, неинтересно существовавшего где-то на последних партах... В школе его для нее просто не существовало... Оба они лежали рядышком, запутавшись в несвежих пятнистых простынях, но совершенно голые, так что сомневаться в том, что именно произошло между ними минувшей ночью, не приходилось. Заглушая громopodobный Виткин храп, казалось, прямо под окном застрекотала шустрая электричка, будто Зингеровская швейная машинка вздумала шить перед мощным микрофоном... Желая тихо сползти с кровати, Алла осторожно пошевелилась – но не тут-то было: старая панцирная сетка, как оказалось, таила в себе целый оркестр, немедленно грянувший из-под Аллиной тощей попы, что сразу оборвало Витькино мощное соло. Под русым, как положено, кучерявым чубом неожиданно прорезались на его обветренном лице два глупых тускло-серых глаза, и загорелась придурковато-восторженная улыбка: «Алка! – гугнивым со сна голосом простонал он, простирая к ней загребущие свои руки. – Невеста моя желанная!». Полностью лишившись от ужаса языка, она молча шаркнулась вбок, скатилась на кривой

крашенный пол, ловко вскочила на ноги и, схватив со стула, через голову напялила выходное кримпленовое платье – черное с белыми полосами и крупными синими цветами. Витька и внимания не обращал на ее жалкую панику – а может, посчитал за проявление законной девичьей стыдливости – во всяком случае, наблюдал он за Аллиными суетливыми перемещениями с некой властной нежностью – словно считал ее законной собственностью и в ответных чувствах не сомневался. «Ты, Алка – того... Ты ничего плохого не думай... – грубовато-ласково убеждал он. – Что я – не понимаю, что ли? Раз испортил тебя – так и женюсь, чего такого? Давно уж пора, да невесты хорошей не было. А теперь вот сам Бог велел, так что ты не бойся, не брошу... Детишек народим... Я машинистом работаю, полдома, вишь, нам с матерью-покойницей от депо дали... Хороший дом, да жить некому... Так что хозяйкой будешь... Ты-то мне еще в школе нравилась... Строгая такая, не то что эти вертихвостки... А что до свадьбы не утерпел – так «под мухой» был, извини уж... Ну, ничего, не говори никому: распишемся по-быстрому, да и дело с концом...».

Алла уже нашла под кроватью остроносые лодочки, впихнула в них босые ноги и теперь лихорадочно трепала пальцами свою развалившуюся «бабетту», пытаясь придать хотя бы наполовину приличный вид на совесть начесанным и налаченным вчера, а сегодня похожим на рухнувшее осиное гнездо волосам. Она уже не искала ни белья, ни чулок... Кое-как скрутив и зашпилив липкие жесткие волосы и коротко взыв от мимолетного взгляда в мутный осколок зеркала над железным рукомошкой (то, что она там увидела – черно-пестрое на глинисто-сером – осмыслению не подлежало), несостоявшаяся невеста подхватила с того же стула черную лаковую сумочку и, закусив от нетерпения губу, буквально вывалилась из дощатой двери в странное захламленное помещение, проковыляла по щелястому полу и, наконец, оказалась на воздухе, прямо перед железнодорожной насыпью – и опять откуда-то нарастал шум недалекого поезда... Потом она мылась из черной колонки на земляной дороге ржавой тепловатой водой, напоминавшей на вкус кровь из губы, и мокрые ноги не лезли обратно в раскисшие туфли, и три недели страстно ожидала так и не пришедших месячных, и – внезапно успокоилась, поняв, что с ней негаданно произошло то же самое, что и с теми дрожащими тварями, что ежедневно, сбившись в трусливую кучку у белых дверей малой операционной, ожидали своей незавидной участи... Тогда Алла решила сохранить ребенка – для себя. Родила, назвала Инной и полюбила. И радовалась, что девочка не унаследовала ни безнадежной материнской некрасивости, ни столь же разительной тупости своего случайного отца. Она росла миловидной и неглупой – а значит, имела высокие шансы на лучшую, никогда даже в мечтах не приходившую к ее рассудительной матери долю...

Алла прекрасно знала, что Инночка снова придавила будильник среди ночи – но, поскольку позволяла она себе такое нечасто, свято чтя невидимые, но очень хорошо чувствуемые рамки, за которыми находилась наказуемая наглость, умная мать в очередной раз сделала вид, что ничего не заметила. Она бы и теперь с удовольствием проспала до десяти, а потом разыграла с дочерью привычную мизансцену, кончавшуюся добродушным родительским попустительством – но Инна не учла или просто забыла, что такие фокусы можно проделывать только в те субботы, когда мама выходная. Взрослая работа – это святое, и ребенок не должен организовывать родителям служебные неприятности ради своих капризов; девочка была немилосердно разбужена, накормлена простой яичницей (сама виновата, что на взбивание любимого омлета по всем правилам не осталось времени) и выпровожена из дома как раз в те последние секунды, когда вполне успевала добежать до «Сокола» и вскочить в автобус, что доставит ее к школьным воротам без трех девять. У Аллы между тем оставалась еще минуточка на пару глотков живительного кофе, пока милые резвые ноги дочурки, обутые в замечательные бежевые чехословацкие туфли на каучуке, беспечно несли ее к остановке по оранжевым палым листьям, наискосок через обширный газон...

До «Сокола» Инна легко домчалась и по инерции прыгнула в отходивший автобус – верно, благодаря удобным мягким туфлям, словно так и предназначенным для упругого бега, но внешне все-таки, по ее мнению, слишком детским... Она на вид – совсем девушка и вполне заслуживает каблучка! Но стоит только заикнуться об этом матери, как готово – слушать противно: «Рано... Не по возрасту... Люди примут тебя за лилипутку – маленькая, а туфли на каблучках... Ноги испортишь – там кости формируются... Ты и без того одета слишком по-взрослому...». Тьфу. И, главное, не докажешь ей ничего. И пальто коротковато уже, выше колен на две ладони, совсем по-девчоночьи выглядит, хотя само – красивое, польское, из мягкой шерсти в сине-зелено-серую клетку и с капюшоном. По-настоящему хороша только дамская коричневая кепочка из замши – импортная, конечно, маме какая-то знакомая пациентка подарила, ей оказалась мала, ну, а Инна –

головастая девушка... И славно смотрится с этой новой, совсем взрослой стрижкой (парикмахерша даже стричь ее так не хотела, все бормотала, дура, – зачем, дескать, тебя стричь, как тетку для фотографии на паспорт, давай оставим побольше на макушке, чтоб можно было завязывать такой большой красивый бант, – ну, не идиотка ли?)... К кепочке идеально подходит старая мамина сумка – вместительная и тоже из коричневой замши – всяких там школьных портфелей Инна давно уже не носит: стыдно, не первоклашка ведь!

В этих мыслях она не заметила, как автобус подвалил уже к последней остановке перед той, на которой следовало выходить – и так протяжно, будто по кариозному зубу, прошла вдруг по сердцу нудная тупая боль: не хочу-у! – простонала сама ее душа. Инна быстро оглянулась: ни одного знакомого в салоне не оказалось, все ее обычные попутчики успели прибыть в школу предыдущим рейсом; только на задней площадке смеялись две простецкие старухи, да равнодушно стоял высокий мужчина в кожаной куртке. Желтые двери длинного «Икаруса» сложились гармошкой, и, даже не успев принять конкретного решения, Инна с облегчением выпрыгнула на сухой пыльный асфальт.

- Вот он. Теперь все-таки будем внимательней. Конечно, каждый раз все, как правило, идет точно так же, как и всегда, но... Изредка они все-таки что-то меняют на ходу, и можно не успеть вмешаться... У меня так, правда, случилось только однажды, в Римской Империи. Я был Встречающим одного новокрещеного, который шел на тайное собрание своей общины и все никак не мог столкнуться со стражниками, которые поймали и отвели на суд, мучения и казнь всех его товарищей, а он не дошел буквально полсотни шагов. После он прожил еще лет тридцать, со временем попал под влияние дурной женщины и отрекся. Так вот, стражники четыре миллиона триста тысяч сто шестнадцать раз появлялись за городской стеной у старого кладезя. И я никак не мог подогнать к нему подопечного вовремя, чтобы он, наконец, прошел свое Мытарство. А на сто семнадцатый они вдруг появились еще до ворот – и схватили бы его, наконец, если бы я преступно не расслабился и сумел бы отвлечь внимание подопечного, который успел их увидеть и спрятаться... В результате, мне так и не удалось помочь ему: он шел на то собрание еще сколько-то сотен тысяч раз, пока, наконец, не достиг своей критической массы, не попался им в руки сам и не умер от пыток. Его можно даже видеть на одной иконе всех святых – не отдельно, правда, а в лике первомучеников, одиннадцатым слева в восьмом ряду – но и это уже кое-что...

- Не понимаю, а где – Встречающий этого мужа? Ведь мы могли бы связаться, обустроить... А он один... Почему?

- Потому что это не его Мытарство, а ее – здесь просто воссоздается нужная ситуация. Это девочке именно здесь и сейчас нужно пройти правильным путем, а исправлять путь мужчины – не нам и не теперь; с ним другие работают, в других местах и по-другому – если он в Книге. А если нет... В любом случае, незачем это проверять.

- Я понял, Наставник. Ее будут будить в одном и том же дне до тех пор, пока она не проживет его так, как было нужно?

- Ты не совсем понял, Ученик. Да, ее будут будить в том же дне – луч, подушка, помнишь? – и, прожив его, как раньше, она продолжит жить – день в день, шаг в шаг, жест в жест, слово в слово – смерть в смерть, как сотни тысяч раз жила эту жизнь и умирала. У нее не будет никаких воспоминаний о прежнем, поэтому в бесконечности все пойдет совершенно одинаково: она ни разу не вздохнет ни короче, ни глубже. А умерев, опять проснется на той же подушке... И так до тех пор, пока не накопится у нее некая собственная критическая масса. Что это – нам неизвестно, но так говорят... Если я не сумею помочь ей раньше. И когда она поступит как должно, ее выпустят – и Хранитель пойдет с ней выше. Ну, потом он, конечно, опять ее потеряет, а я снова приму на другом Мытарстве и стану думать, как ей ускорить его прохождение. Как видишь, ничего сложного...

- Это больше, чем ужасно, Наставник.

- А что ты хотел – это Мытарства. То, чего на земле боятся даже праведники. И притом, это не последнее ее испытание. Не забудь, на пути вверх стоят и другие стражи, а откупиться от них ей давно нечем...

- Но успеет ли она пройти все? Я слышал, времена подходят к концу...

- Не нам рассуждать о том. Сразу видно, что ты не Изначальный. Но не бойся – она успеет. На земле, в ее времени, лишь десятый день после смерти – урна с пеплом даже еще не замурована в нишу.

- А если о ней кто-нибудь оттуда попросит?

- Смотри кто и как. Но о ней – некому попросить... Да никто и не захотел бы... Хотя... Прислушайся... Я не ошибся?

Бабушка Катерина проводила Макса до самого выхода в запущенный дворик дома престарелых. Сегодня она, вопреки обычаю, не спрашивала его о том, когда он собирается, наконец, вернуться к «родной жене» и «брошенным малюткам», не упрекала в измене «Таточке, милой девочке» и не обзывала Светлану проституткой. Надо же – ни признака маза в бабке, ни провалов в памяти, а как заело старую: «Надо жить с матерью своих кровиночек. Пока не вернешься в семью – дом на тебя не перепису». А то, что они с Татой развелись – по обоюдному согласию – целых шестнадцать лет назад, до войны еще, когда их дети заканчивали институты, и теперь у этих детей собственные перешли в старшую школу, что Света – его верная и любимая жена уже полтора десятилетия, и, кстати, тоже мать его умницы Олечки – упорно не принимает в расчет. Вздорная, упрямая и жестокая бабка. Прекрасно знает, как им трудно сейчас, как мучительно пережили проклятую войну, сколько друзей потеряли – не говоря уж о крове, какая нищета беспросветная одолела... Нашла себе повод для радости: соседка по этажу умерла – такая же гнусная, сварливая, похожая на старого бультерьера, весь свет ненавидевшая старуха, Инной звали, а по отчеству... черт бы ее побрал... – и можно переехать в ее более светлую угловую комнату...

Макс раздраженно плюхнулся в старую битую машину, рассеянно ткнул было в кнопку автопилота, но спохватился и сразу отменил приказ: нет уж, на этой старой раскорячке тридцать шестого года выпуска... он лучше сам поведет, плевать, что другие подумают, а то не дай Бог, как в прошлый раз... Вспомнить страшно – только чудо спасло: автопилот решил на высокой скорости произвести вертикальный взлет, и тут его, как раньше говорили, заглохло... Ни отключить, ни руль разблокировать... «Господи! – крикнул он в отчаянье. – Я еще дочке нужен!!!» – и расклинило, вот чудеса... Схватился за баранку, на последнем дыхании вырулил... Считай, второй раз родился – а все мало ему, все не нравится... Бабу Катю вот костит за глаза, а покойницу эту постороннюю, Инну, или как ее там... черту посулил... Он перевел глаза на небольшой пластиковый складень, прикрепленный у сенсорной панели, и виновато пробормотал: «Упокой, Господи, душу новопреставленной рабы Твоей Инны... И учини ее... Ну, куда-нибудь там учини, где получше... Не такая уж она и плохая была, наверное, как нам кажется... И меня, грешного Максимилиана, прости, Господи, и помилуй...» – и Макс, быстро оглядевшись, украдкой перекрестился.

- Ты слышал?

- Да, Наставник. Скажи: у нее появилась надежда?

- Пришедший, она никогда и не исчезала.

2

- Для кого ты basiшься¹, коли муж твой на купле²? – немолодая соседка в ярком зеленом летнике стояла на крыльце рядом с Мишуткиной матерью, с утра нарядившейся в алую шиденную срачицу³ с расшитым подолом, который и виднелся теперь из-под легкого свободного платья цвета цини⁴. – На боярыню хочешь походить? Смотри, Маша, дорядишь... Жена красовита – безумному радость⁵!

- Для себя, – презрительно ответила мать, высокая полная женщина с румяным, намазанным лицом, и, оглянувшись по сторонам, откинула с головы тонкий плат, из-под которого сразу же гладко хлынули неубранные коричнево-золотистые волосы – словно мед

¹ *Баситься* – наряжаться (арх.; здесь и далее – примечания автора)

² *Быть на купле* – уехать торговать (арх.)

³ *Шиденная срачица* – шелковая сорочка (арх.)

⁴ *Цвета цини* – синий (арх.)

⁵ Поговорка.

потек. – Жарко, сил нет... Лету самый межень¹... – ее взгляд упал на неугомонного сына, как раз затеявшего рискованную игру с соседским Васяткой: мальчишки сговорились прыгать через сливную канаву на манер саранчи травной², совокупив обе ноги, а прыгнувшему дванадцать³ раз подряд, не угодив в воду, предстояло получить в качестве награды большую сахарную коврижку, ожидающую своего жребия поодаль, на чуть колыхавшейся доске покинутых качелей.

- Мишутка! Сил моих нет больше! А ну, как ноги переломаешь! Лучше коником скачи – да на ровной лужайке, там-от, раз уж на месте не сидится! А не то в дом пойдите, бабка Дарья вам молока с малиной даст! – крикнула Маша в сторону вовсе не обращающих на нее внимания ребятишек.

- Да брось ты себе сердце рвать попусту... Пусть себе резвится, пока живой... В гробу, чай, не попрыгаешь... Мало кто из ребят в возраст войдет... Без них горе, а с ними – вдвое⁴, – соседка Мавра облокотилась на перильца рядом с Машей и зевнула, равнодушно созерцая детскую возню: оба мальчика были уже по уши мокрыми, но больше полдюжины раз никто из них не сумел благополучно перелететь канаву. – Ты лучше послушай, что в городе делается... Оногды⁵, сказывают, в большом доме у мугазенных амбаров⁶ у купца Евлогия служилые люди зятя до смерти убили, когда за книгами старыми пришли. Евлогий с семьей крепко старой веры держится, ну, зятя их отдавать и не захотели... Так одному все персты отсекали на десной⁷ руке, когда разжать их на Псалтири не сумели, а другого по лбу топорищем огрели – так к вечеру из него и дух вон... А сама ты, подружие, сколькими перстами крестишься?

- Сколькими поп велит, столькими и крещусь, в еретицы подаваться не собираюсь, – мягко огрызнулась потемневшая ликом Маша, все так же неотрывно глядя на хохочущего в радужных каплях сына. – А коли, в воду упав, заклёкнется⁸... Как думаешь, Мавра?

Подруга снова от души зевнула и принялась обеими руками махать себе на влажное свекольно-красное лицо:

- Ух, и жарница... Но знаешь, я хотя и пущеница⁹, которую ни один поп не перевенчает, а простоволосой, как ты, даже в закрытом дворе не останусь: еще заглянет кто – сраму не оберешься... Без того всякий, кому не лень, готов камень кинуть... И как ты – мужатица¹⁰, а не боишься... А коли челядь мужу донесет, он, как вернется, – ох, за власы-то тебя оттаскает...

- Не заклёкнется Мишутка мой в канаве той дурацкой? – досадливо перебила ее Мария. – Вон уж сколько раз с головой туда ёбрюшился¹¹!

- Мо-ожет... – Мавра медленно повела круглым плечом. – Вон, смотри, Васятка Алёнин чуть протышался... У меня и самой один заклёкнётся. Не в канаве правда – в Москве-

¹ Межень – середина (арх.)

² Саранча травная – кузнечик (арх.)

³ Дванадцать – двенадцать (арх.)

⁴ Поговорка.

⁵ Оногды – позавчера (арх.)

⁶ Мугазенные амбары – торговые склады (арх.)

⁷ Десная – правая (арх.)

⁸ Заклёкнуться – захлебнуться, подавиться (арх.)

⁹ Пущеница – разведенная женщина (арх.)

¹⁰ Мужатица – замужняя (арх.)

¹¹ Ёбрюшился – упал (арх.)

реке... На ту излучину, что под холмом нашим, с холопчиками¹ побёг, а я недоглядела... Да и сама молода была – двадцать² лет той весной миновало. Вто́рый он был у меня, да остальные шестеро на то лето уж померли, а этот в отроки вышел³, уже уставом писал⁴... Ни глотошная⁵ его не взяла, ни трясца⁶... Думала, хоть этого жёню, а тут... Как принесли его с реки без дыхания, я сама три дня аки мертва, пролежала: я в то лето ведь не брюхатела – мой совсем уж лазить на меня перестал. Оно и понятно: когда нас венчали, ему за четы́редесят⁷ далеченько перевалило, а я ему двунадесятной⁸ досталась. У нас ведь как? Невеста родится – жених на конь садится⁹... А у моего уж и внуки были... Но ничего, потом прокинулась¹⁰ – а куда деваться: на рать сена не накопишься, на смерть робят не нарожаешься¹¹... Так что и ты к своему не очень-то прикипай, сама знаешь: десятерых родишь – одного женишь. Редко, когда двух... Мишутка-то твой у тебя который, соседушка?

- Тоже только вто́рый, потому и хоронить не обвыкла, – отбросив ладонью волосы и так замерев, тихо отозвалась Маша. – Марфинька, старш́ая-то, на третьем году сырным заговеньем¹² преставилась от лихоманки... Так я тогда с печали едва ума не отбыла. А если и с Мишуткой что – так мне и вовсе свету больше не взвидеть: других-то не родить уж: стара... Тридесать и семь¹³ по осени сравняется – да и откуда? Муж и раньше-то не охоч был до изриц тех со мной – всё приговаривал: кабы вы, детушки, часто сеялись, да редко всходили¹⁴... Ртов, вишь ты, плодить не хотел, по девкам блудным шастал... А как видел, что я брюхата – так и по пелькам¹⁵ меня, аспид, и по чреву, и под гузно¹⁶ – пока дитя само не вывернется... Когда – зарод, а когда и образ... Сам всех в выгребную яму вынес... Ничего, – говорил, – за то поп епитимьи не наложит¹⁷... Насилу жива осталась... – Мария увидела, что, устав от прыжков и воды, но так и не выявив победителя, Мишутка с Васяткой уже

¹ Холопчики – дети рабского сословия (арх.)

² Двадцать – двадцать (арх.)

³ То есть, ему исполнилось семь лет

⁴ Уставом – печатными буквами (арх.)

⁵ Глотошная – скарлатина (арх., диал.)

⁶ Трясца – лихорадка; любая болезнь с высокой температурой (арх.)

⁷ Четы́редесят – сорок (арх.)

⁸ Двухнадесятная – двенадцатилетняя (арх.)

⁹ Поговорка.

¹⁰ Прокинулась – очнулась (арх., жарг.)

¹¹ Поговорка.

¹² Сырное заговенье – сырная неделя (Масленица), когда заговляются на Великий Пост и уже не едят мясо, но всю неделю разрешены молочные продукты (арх.).

¹³ Тридесать и семь – тридцать семь (арх.)

¹⁴ Поговорка

¹⁵ Пельки – женские груди (арх., жарг.)

¹⁶ Гузно – ягодицы (арх.)

¹⁷ Церковное покаяние (от 5 до 15 лет земных поклонов, поста и отлучения от Причастия) накладывалось на женщину только в том случае, если она сама вызывала у себя выкидыш; если это происходило в результате побоев, то епитимьи не полагалось

мирно сидят на двух перевернутых горшках посреди двора, и каждый бойко жует свою половину коврижки – и расслабилась, отпустила руку: – Так ты, значит, соседка, потому своей волей к другому мужу ушла, что еще деток родить хотела?

Мавра покачала головой:

- Нет. Ты хоронить не обвыкла, а я устала. Аки сука ценная каждое лето ходишь, да у той что ни приплод – так половина выживет... А у меня – не стоят. Сломалась я на Гришаньке моем... Знаешь... – она невесело, половиной рта улыбнулась. – Зндёбка¹ у него тут вот на вые² была багряная... Боялась, женить трудно будет: побоятся девку отдавать, чтоб детям зндёбка на лицо не перескочила... Не того, выходит, боялась...

- Ты, верно, как брюхата им была, пожар видела, – ласково сказала Маша.

Мавра отмахнулась:

- Пустое. Так вот, не за новыми детушками я к другому мужу пошла – просто пожить захотелось – дёлюби³, пока нутро не засохло. Еще за венчанным моим будучи, когда бражничал и дома по две недели не живал, часто во сне видела, якобы спасла с другим на едином ложе и сладостно во сне любовастася⁴... А как дома муж явится – так скимер-зверь⁵ рядом с ним котенком покажется! Места живого на мне не оставлял, иной день от утрени до вечерни на мосту⁶ проваляюсь, кровями плюя... Я уж и сама с ним упьянчива стала, известно ведь: страшно видится, а выпьется – слюбится⁷. А однажды у кумы-попадьи в обед гостевала – и вошел он, сердце мое... И со мной, как с той злой женой – помнишь? – приключилось: «составы мои расступаются, и все уди тела моего трепещутся, и рuce мои ослабевают, огонь в сердце моем горит, брак ты мой любезный»⁸...

Маша, продолжая коситься на сына, пододвинулась ближе к Мавре:

- Впервые слышу такие непригожие речи... Так ты, значит, злая жена у нас, подружие? Хорошую память Бог дал тебе – а другое, оттуда же – не забыла? «Аще жена стыда перескочит границы – никогда же к тому имети не будет его в лице своем».

- Стыд не дым, глаз не выест⁹, Машенька! Мне к исповеди не ходить, я невенчанной живу – зато счастливой! И робят мне больше не надобно: чем ложесна напоить¹⁰, чтоб не зачать невзначай – и тебя научу, если хочешь...

Собеседница сухо отстранилась:

- Мне поздно уже. Да и грех ведь это какой – с мужем приближенье иметь не детородства ради, а слабости! И чего ты сладкого находишь в ласкательстве том? Я за отдых почитаю, когда мой на купле или по девкам... И сама подумай: за то на пятнадцать¹¹ лет отлучают. Впрочем... Ты ведь пущеничеством своим сама себя отлучила... Как же ты без церкви живешь, Мавра?

Но та вдруг борзо обернулась к Мишуткиной матушке и возвысила голос:

¹ Зндёбка – родимое пятно (арх., диал.)

² Вые – шея (арх.)

³ Дёлюби – досыта (арх.)

⁴ Любовастася – была ласкаема (арх.)

⁵ Скимер-зверь – злое сказочное чудовище (арх.)

⁶ Мост – деревянный пол в доме (арх.)

⁷ Поговорка

⁸ Из «Беседы отца с сыном о женской злобе» – нравоучительного произведения XVII в.

⁹ Поговорка.

¹⁰ Применить противозачаточное средство.

¹¹ Пятнадцать – пятнадцать (арх.)

- А ты?! Я и в дому своем молюсь – да крещусь двоеперстно! А как тебя стыд не берет – кукишем крестное знаменье творить¹?! Я хоть и пуценица – а Святой Троицы не четверю: трегубо «аллилуйя» не пою, славлю сугубо²! Я Святого Духа по-старому Истинным называю³ – а ты что ж? Как я без церкви обхожусь, спрашиваешь? А вот и я спрошу – как ты туда ходишь, как без стыда чтёшь новые книги... поганые, где все слово Господне выхерено⁴?

Ни одна из жениц не заметила, что Васятка с Мишуткой давно уж во дворе были порознь: первый из всех сил пытался поделить малым остатком коврижки с брезгливо воротившим сытую щекастую морду котом, не решавшимся, однако, пустить в дело только что преостро наточенные когти, а второй, незаметно подобрившись под высокое крыльцо, нашел там недогрызенную кость их сторожевого кобеля, как раз отлучившегося по важному делу, и увлеченно пробовал ее на вкус, параллельно краем уха слушая разговор матери с соседкой. Теперь, когда Мавра заговорила с матушкой дерзостно, она совсем разонравилась мальчику, по первоначально залюбовавшемуся было на ее новый летник из доброй зендяцы⁵, надетый врасстопашечку⁶, и на сверкающее в лучах обеденного солнца дорогое ожерелье с розовым жемчужным саженьем... Хотя и не уразумел несмышленный Мишутка, все еще не обсохший после прыжков по-саранчиному, почему вдруг соседка с матушкой друг на дружку взъярились, но приятно ему было услышать, что матушка в долгу не осталась и стала храбро наступать на обидчицу:

- Не за то побьет меня муж, что во дворе у себя простоволосая стояла – а за то, что блудные речи бабы отлученной на своем пороге слушала! А уж от пуценицы до еретицы – недолог путь! Ты вот что, Мавра: иди-ка со двора моего, пока я твои-то бесстыжие волосы не повыдергивала!

Наверху послышалась весьма красноречивая возня, и осторожно высунувшись, мальчишка успел увидеть, как Мавра, быстро нагнувшись, подобрала с полу материнский убор, легкомысленно сброшенный тою с влас, и с размаху швырнула его Марии в лицо:

- Вот твой кокуй – в нём и кукуй!⁷ – зло крикнула она и бросилась вниз по лестнице.

Проводить ее взглядом Мишутке не удалось, потому что в темной сырости вдруг блеснул коричневой с золотом гибкой спинкой быстроногий жижлец⁸ – и, вскрикнув от радостной неожиданности, мальчишка плашмя упал на брюхо, чтоб успеть схватить увертливую добычу...

- Ты не здесь, Ученик?

- Прости, Учитель, я задумался.

- Чем скорей ты забудешь прежнее, тем более преуспеешь в учении. Мужчина сейчас вон там – наблюдает за девочкой сквозь кусты, со скамейки, но подойти не осмелится: кругом

¹ Креститься тремя пальцами, по новому обряду, введенному Патриархом Никоном.

² Согласно старообрядческому учению, «аллилуйя» должна петься два раза (сугубо) – «по-ангельски», а третий – «Слава Тебе, Боже!» – «по-человечески», в то время как после реформы Патриарха Никона ее стали петь трижды (трегубо) «по-ангельски» и четвертый раз – «по-человечески», что старообрядцы считают оскорблением Святой Троицы.

³ Реформой Патриарха Никона из «Символа Веры» было убрано слово «истинного», относившееся к Духу Святому.

⁴ Выхерить – перечеркнуть (арх.)

⁵ Зендяца – хлопчатобумажная ткань, поставлявшаяся в Москву из Новгорода, а туда – из села Зандана, находившегося недалеко от Бухары (арх., диал.)

⁶ Врасстопашечку – нараспашку (арх.)

⁷ Искаженная поговорка (в оригинале «Вот тебе кокуй, с ним и ликуй!»), означавшая, что, выйдя замуж, женщина обязана была постоянно носить головной убор «кокуй» (по-другому «кокошник», «кику»), видоизменявшийся с течением времени, но всегда являвшийся символом зависимости и покорности.

⁸ Жижлец – ящерица (арх.)

гуляющие. Так что наша подопечная пока в безопасности – вот она, хочет покормить белку, а белка не ест.

- Это неудивительно, Наставник: белки не едят хлеба. Некоторые люди просто не знают об этом. Его и птицы берут только зимой, когда умирают с голоду. Их пища – зерна, червяки и насекомые.

- Похоже, Ученик, ты тоже хочешь в чем-то быть моим Наставником.

- Я думал, может, ты не знаешь о том, как живут белки и птицы, а я знаю, и очень хорошо.

- Ты прав, я редко задумывался о животных, с ними работают другие, но, когда они мне нужны в моем служении, я просто спрашиваю, вот и все. Эта белка нам не понадобится. Но, знаешь, тебе может оказаться в чем-то легче, чем мне, например, и вообще Изначальным. Вы, Пришедшие, всегда будете лучше ориентироваться в мире людей, потому что видели их жизнь изнутри своими глазами – недолго, конечно, но ваши семь земных лет дорогого стоят. Недаром среди вас так много хороших Хранителей. Ты интересовался – почему тебя не пустили дальше младенчества?

- Да, Наставник, но мне запретили прозревать. Сказали – еще рано.

- Теперь пора, я думаю. Посмотрим вместе, когда закончим работать с Инной... Почему ты вдруг опять отошел куда-то? Я теряю с тобой связь, это неправильно.

- Я подумал: вдруг нам снова не удастся ее оградить? Этот муж ведь учинит над ней насилие – так? Или даже смерти ее предаст?

- Ученик, ты все еще рассуждаешь, как Хранитель, а здесь ты сопровождаешь Встречающего – не забывай. Я говорил – она умерла в девяносто четыре года. И мы здесь не защищаем ее, а помогаем пройти Мытарство и, кстати, избавиться от этих отвратительных восьмидесяти с лишним лет, которые ей предстоят. Оградить... Она почти миллион раз успешно ограждала себя сама! Вот хотя бы предыдущий тебе покажу... да все равно, какой: все они похожи больше, чем близнецы. Смотри.

Гулять в одиночестве по Покровско-Глебовскому лесопарку Инне скоро наскучило: неприятное чувство предощущения неминуемого разоблачения с последующим наказанием (оно может быть ужасным: мать не пустит ее в следующее воскресенье на день рождения к Лёльке и денег на подарок не даст) никак не покидало девчонку. Сколько она ни убеждала себя, что классная, у которой в субботу, как у всех порядочных людей, – выходной, не полезет проверять журнал в понедельник в поисках затесавшихся прогульщиков – все равно свербело в душе – мелко и остро, как соринка в глазу, которую никак не сморгнуть. Да вдобавок, и есть захотелось невыносимо: еду осталась без второго завтрака, недальновидно раскroшив всю домашнюю слойку привередливой осенней белке, отрастившей на подачках такие бока, что походила уж на закормленную морскую свинку с пришитым хвостом. Явиться в школу – хоть к третьему? Но, настроившись на незапланированный выходной, не так уж и легко было переключиться обратно, да и математичка, змеюка, чего доброго, вызовет... Словом, путь лежал в обратном направлении, домой, где матери не будет до утра, а значит, можно после обеда зайти за Лёлькой, старшей подружкой-девятиклассницей с четвертого этажа и затащить ее вместе смотреть телевизор – после программы «Время» покажут какую-то там серию «Знатоков»... Кстати, если мать открыла ту бутылку «Плиски» – ведь она прикладывает по ночам в одиночку, Инна знает – то они с Лёлькой легко отцедают оттуда по рюмочке, совсем незаметно... И тогда может накатить охота поиграть «в мужа и жену»... Лёлька всегда с удовольствием исполняла роль мужа, но Инна никогда не бывала до конца довольна этими их редкими игрищами, иногда даже рыдала после них по ночам, потому что смутно чувствовала, что подружка не умеет дать ей чего-то самого главного, что сразу сделает ее совсем взрослой, того, ради чего люди и занимаются таким делом по-настоящему, а не как они – по-детски и будто понарошку. Правда, однажды соседка одолжила у себя в школе иностранный журнал, в котором на цветных фотографиях были только женщины – вдвоем и втроем – но попытки неуклюже изобразить то, что они там проделывали, привели только к неприятным и некрасивым последствиям для Инны, так что пришлось наскоро – дело происходило у Лёльки, и вот-вот должен был прийти с работы ее отец – отмыть обивку их совсем нового мягкого дивана в гостиной. Правда, после того случая Лёля сказала, что, когда все заживет, они могут играть уже посмелее и жестче, пообещав Инне кайф, с которым ничто и никогда не сравнится. И в следующий раз, тоже в субботу, когда родители подруги еще не пришли из театра, Иннина мать дежурила свои очередные «сутки», а они только что посмотрели в темноте глупейший старый фильм и решили поиграть, Лёлька принялась уже по-хозяйски, опытными

прикосновениями, от которых хотелось крикнуть то ли «Хватит!», то ли «Еще!», искать какую-то «заповедную точку» у Инны, уверенно ее нашла – и у той вмиг ослабело все тело, и она повалилась лицом в подушку. «Муж» оставался где-то сзади, уже не ведая никаких препятствий, а у Инны внутри словно начал медленно надуваться огромный воздушный шар, и девочка уже знала, что как только он не выдержит, лопнет – сразу придет то ощущение, ради которого люди убивают, истязают и предают; оно уже подступало, исподволь накатывая мощными волнами, шар в ней достиг невероятных размеров, она напряглась, готовясь к неведомому, страшному и вожделенному взрыву, оставались доли секунды – и вдруг темноту прорезал длинный и острый, как удар кинжала в печень, дверной звонок. Это Лёлькины родители вернулись из театра... После того случая девочки избегали друг друга всю весну и лето, каждая с острым стыдом вспоминая секунду, в которую они мгновенно разъединились и соскочили с дивана, дико глядя друг на друга и сляясь перевести дыхание... И только после летних каникул, в сентябре, случайно столкнувшись в лифте, они вновь задружились, вполне невинно, с бурными танцами под магнитофон и прогулками в отделы духов и бижутерии, но каждая, определенно, ожидала от другой тайного сигнала – взгляда, кивка, двусмысленной улыбки... И тогда, знала Инна, все завертится опять – и уже по-настоящему. Они обе хорошо помнят тот воздушный шар – и уж теперь-то он у них лопнет, можно не сомневаться! И так будет происходить каждый раз... Так вот, сегодня она этот знак – подаст. И пусть Лёлькины родители смотрят на здоровье там у себя идиотов-знатоков, нудно распутывающих простейшие преступления (Инна каждый раз с самого начала легко определяла, кто виноват, и дальше смотрела фильм, только чтобы убедиться в правильности своей догадки) – они с Лёлькой телевизор и включать не станут. Этих полутора часов им с лихвой хватит для того, чтобы вырастить в ней шар, соизмеримый с дирижаблем – и он разорвётся, лишь когда она, Инна, ему позволит... И в ту же секунду она станет взрослой!

В автобусе она вдруг заметила того же статного мужчину в дорогой кожаной куртке, что ехал с ней еще в ту сторону и вышел на той же остановке, у входа в парк. Девочка присмотрелась к нему повнимательней – просто так, из чистого любопытства – и, прежде всего, привлекала его роскошная куртка, ясно указывавшая на высокий статус владельца. Даже ее небедная мам-гинеколог очень долго не могла позволить себе такую же, но женскую, и только полгода как ею обзавелась... Инна вздохнула: ей самой одеться в такую замечательную лайку не светило еще лет... Столько, что в эту бесконечную даль времен не стоило и заглядывать. Он, наверное, директор комиссионки, этот высокий мужик, или ресторана, или... Машина у него сегодня в починке, вот он и отправился на автобусе прогуляться по осеннему парку, пока ее ремонтируют, а сейчас едет забирать – мгновенно придумала она коротенькую, вполне правдоподобную легенду. Ему можно было дать на вид лет тридцать пять, и собой мужчина был так хорош – ну, просто загляденье! – что Инна даже уставилась на него почти откровенно. Высокий, с широченными плечами и узкой задницей, как и положено безупречному красавцу, с четкой ямкой на твердом подбородке, с приятным, правильным и ясным лицом, с крупными длиннопальными руками самой благородной формы – он мог влюбить в себя не только простушку-школьницу, но и любую, самую шикарную и недоступную женщину... Следующий вздох Инна подавила, потому что вдруг вспомнила, сколько ей на самом деле лет, несмотря на потаенное «почти взрослое» состояние. Что толку на него пялиться! Ей нужно прожить еще, по крайней мере, столько же, сколько она уже прожила, чтобы такой, как он, хотя бы второй раз глянул в ее сторону... Она отвернулась и принялась смотреть в окно – до «Сокола» оставалось уже всего ничего. Сейчас она прежде всего хорошенько поест – там, кажется, мясо тушеное в латке оставалось, и картошка в кастрюльке, выпьет чудного мамино компота, а потом... Только бы Лёлька никуда не ускакала вечером со своими друзьями-старшеклассниками!

И тут что-то произошло. Словно на какой-то далекий город упала атомная бомба, и световое излучение, достигнув на излете, в один миг горячо опалило девчонку с головы до ног. Даже не боковым зрением, а почти затылком она уловила острый жаркий взгляд, и уже знала, чей он. Инна мгновенно обернулась и успела заметить, как все тот же стоявший на задней площадке мужчина быстро отвел от нее пронзительные глаза и вновь принял безразличный, едва ли не сонный вид. Но ничто уже не могло обмануть Инну: он только что смотрел на нее, и смотрел со жгучим интересом. Ее сердце заколотилось было от радости, но сразу проснулся никогда особо не засыпавший разум: этот красивый жеребец не мог принять ее за взрослую – пока еще очень редко посторонние люди говорили ей «вы», а несколько раз даже случались уж совсем неприятные казусы. Например, не далее как вчера одна женщина в метро из-за спины сказала ей: «Разрешите пройти, пожалуйста», но, когда, протискиваясь мимо, увидела Инну в лицо, поправилась:

«Пропусти, девочка» – а Инна чуть не заплакала. Тогда почему, видя, что она школьница, он сейчас смотрел на нее... так... как на взрослую? Она испытывала все нарастающий неуют и долго не могла понять, что тревожит ее, но тут как раз водитель буркнул в микрофон: «Сокол!» – и она бессознательно выскочила напротив входа в родной двор и бросилась наискосок по газону к воротам. Оглянулась: мужчина быстро шел в том же направлении. «Он хочет меня изнасиловать и убить», – вспыхнула яркая мысль, и девочка ни на секунду не усомнилась в ее правильности, словно кто-то подсказал ей, что ошибки нет. Но он же не мог напасть на нее во дворе, где в этот золотой полдень резвились дошколята, чесали языки мамыши с колясками, расселись бабульки по всем скамейкам вокруг детской площадки, как курочки-рябы по насестам, а в самом центре двора на пожертвованном кем-то ради святого дела столе резалось в домино около десятка пенсионеров в сдвинутых на упрямые затылки одинаковых шляпах! Инна перевела дух, спокойней направилась к своему подъезду, и, оглянувшись на ходу несколько раз, убедилась, что мужчины во дворе нет – она все себе придумала! Действительно – чушь какая! Зачем такому кого-то насиловать – да ему бровью повести достаточно, чтобы к нему выстроилась очередь из влюбленных красавиц! У него же наверняка каждый день – новая! Ну и дура же она – бегом от него бежала! – то-то он хохочет сейчас, наверное, идя по улице своей дорогой! Инна досадливо мотнула головой, едва не стряхнув от досады свою хорошенькую кепку, рванула дверь подъезда – и вдруг услышала справа быстрые твердые шаги.

Он не стал преследовать ее во дворе на виду у всех. Он тихо проскочил, никем не замеченный, по асфальтовой дорожке прямо вдоль дома, пригнув голову под сочными ветвями старых акаций, что ломаются в окна первого этажа. И теперь ему оставалось не более пяти шагов, чтобы войти в подъезд вслед за жертвой. Но на эти пять шагов она его – опередила. Это была данная ей кем-то добрым и заботливым маленькая, но спасительная фора: мужчина еще не мог дотянуться до нее руками и заставить повернуть, куда ему было нужно – налево, в темный угол к лифту, где девочка оказалась бы в полной власти насильника и убийцы. И она еще успевала свернуть направо – туда, где были почтовые ящики, лестничные пролеты и квартиры, где жили люди, где можно было позвать на помощь и где он, скорей всего, не решился бы поднять шум... Инна успела. Она не только свернула, куда нужно, но и взлетела сгоряча на один пролет – и вдруг остановилась, не слыша погони...

Она медленно обернулась, удивляясь, что ужас, схватившей ее было за горло несколько секунд назад, пропал, как стертый ластиком след мягкого карандаша. Да, она была права: маньяк не решился преследовать ее вверх по лестнице – да и смысла в этом особого не было: даже догони он ее на площадке – куда бы ему деваться оттуда со своей сопротивляющейся добычей? Мужчина стоял в нерешительности у подножия лестницы, и солнце било прямо ему в лицо из лестничного окна за спиной Инны. Теперь девочка разглядела его вполне – и вновь поразились, насколько же он красив! Большие, чуть затененные глаза смотрели на нее снизу вверх с бессильной алчностью загнанного за решетку хищника, перед которым с вызывающей беспечностью прогуливается ускользнувшая жертва – желанная, ненавистная и недосыгаемая. И глядя в эти глаза, Инна торжествующе-злорадно ухмыльнулась: «Что, руки коротки оказались?» – ясно сказала ее победительная полуулыбка. Несчастный не выдержал. С полсекунды он шатался, как дом перед тем, как рухнуть от прямого попадания снаряда, затем круто повернулся и ринулся вон – лишь пушечным выстрелом бахнула дверь на улицу...

- С того дня – до последнего – прошел восемьдесят один год. Через четверть часа после того, что мы сейчас видели, она стала любовницей старшей развратной девочки, и с тех пор у нее было еще много любовниц и любовников – так много, что и счет им она лет через тридцать потеряла. Но никто из них долго не продержался рядом с ней, потому что каждого она как-нибудь предала или оскорбила. Никакой профессии она так и не сумела получить, полагая, что и без всякого образования – она великий художник, поэт, философ и ученый, заглазно и в лицо обзывая «недоумками» всех, кто считал иначе. Соответственно, она никогда себя не обеспечивала, постоянно живя у кого-то на содержании, – и всегда за это подло и жестоко мстила при расставании. Правда, один из любовников случайно стал отцом ее ребенка – мальчика, которого она сначала отдала в детский сад на пятидневку, потом – в школу-интернат, а после – в кадетский корпус. Сын вырос и сначала просто презирал ее, а потом – возненавидел, когда она разрушила его брак с любимой женщиной, потому что считала ее недостойной быть невесткой «гордости нации». Он спился и умер, но мать даже не пришла на его похороны. Она проклинала и внуков, и правнуков, считая всех пигмеями, не стоящими ее

мизинца, но одну из правнучек – больше всех, потому что та, наконец, сдала ее в дом престарелых и никогда не навещала там. При этом она, правда, исправно оплачивала прабабкин отдельный номер и особый диетический стол, иногда последними деньгами, отказывая своему ребенку в самом необходимом. Когда Инна умерла, ее сожгли без отпевания, и на кремацию не пришли даже соседи по богадельне, вспоминая ее только с отвращением. Но она – крещена, в отличие от всех своих потомков, и пошла по Мытарствам, потому мы и бьемся за нее здесь, чтобы и такой дать шанс не погибнуть до конца...

- Как же нам помочь этой несчастной, Наставник? И можно ли помочь?

- Разумеется. Пока не пришел Самый Последний День, помочь можно любому. Сейчас, Ученик, для этого нужно просто сделать так, чтобы у нее не оказалось тех пяти шагов. Но вот они едут в автобусе – в семьсот тридцать шесть тысяч четыреста девяносто второй раз – а я все еще не могу сообразить, что для этого нужно сделать.

- Наставник, возможно, следует просто наместить побольше листьев на дорожку, по которой пойдет мужчина? Девочка может не услышать его, а увидеть только, когда он подойдет к ней вплотную.

- Листья? Что ж, почему не попробовать... Все-таки, знаешь, я рад, что мне дали ученика из Пришедших – ваши мысли текут непонятным, но подчас правильным руслом.

- В этом нет ничего необычного. Мы там всегда старались идти по траве или листьям, а не по камням или сухой земле, если не хотели, чтобы нас услышали – только и всего... Но скажи, Наставник, если мы отнимем у Инны эти пять шагов – что с ней случится?

- То, что должно было случиться с самого начала, чтобы пресечь проклятый род и повернуть время вспять. Ты ведь знаешь уже, что Вечность живет не по земным законам, и разные миры подчиняются разному времени. Гляди.

...Инна досадливо мотнула головой, едва не стряхнув от досады свою хорошенькую кепку, рванула дверь подъезда и юркнула туда. Она любила пыльный солнечный полумрак своей лестницы, ее просторные каменные пролеты с витыми решетками, широкие теплые подоконники, на которых они с Лёлькой еще совсем крошками играли «в повара» или «в детский сад», когда снаружи шел дождь – так за городом в непогоду дети играют в беседке или под навесом крыльца. Иногда она даже не спеша поднималась на свой шестой этаж пешком, чтобы насладиться по дороге простыми детскими ассоциациями – но сейчас голод и смутное нетерпение, касавшееся предстоящего вечера, погнало ее налево, к лифту... Жаль, что Лёлька еще, наверное, в школе – нельзя заскочить к ней прямо сейчас и договориться о встрече, намекнув, что сегодня хорошо бы возобновить старую игру – тогда она уж точно не запланирует ничего другого! А вдруг она сегодня тоже сачканула? Нет, надо все-таки заехать на четвертый – чем черт не шутит! Тогда можно пообедать и у нее... Или пообедать – потом... После того, как... Как лопнет шар, который уже обозначился где-то внизу – такой еще маленький, но уже пересыхает во рту... Вот под ее нетерпеливым пальцем вспыхнула красным прозрачная кнопка, и двери лифта, ожидавшего прямо на первом этаже, начали гостеприимно разъезжаться.

Вдруг сзади послышался шорох – но Инна не успела обернуться. В один миг в лицо ей впечаталась огромная влажная ладонь – и сразу же перекрыла дыхание. Одновременно ее грубо пихнули в спину – а позади негромко сомкнулись двери. Она забилась в чьих-то железных руках – еще полностью не осознав происходящего, но уже озаряемая мгновенной догадкой: это он, догнал ее все-таки, а она не видела и не слышала! Рука по-прежнему зажимала ей рот и нос, в голове начинало мутиться, но глаза еще видели – и перед ней мелькнуло знакомое лицо: да ведь он же вовсе не красавец, а – урод! – какое страшилище, с оскаленными зубами! – глаза, как у бешеной собаки! – девочка начала беспорядочно молотить слабеющими кулачками по твердому, будто каменному торсу, обтянутому гладкой коричневой лайкой, и услышала срывающийся хрип над ухом: «Затихни, а то сдохнешь прямо сейчас... сладкая маленькая шлюха...» – но ее парализовало лишь на секунду. Бешено извиваясь, Инна инстинктивно пыталась вырваться, освободить лицо, крикнуть – и все усиливался зверский нажим на голову, уже некуда было ее отклонять – не может быть, чтобы я сейчас умерла – нет, кажется, умираю – еще жива – попытаться – и она рванулась вбок... Что-то треснуло, легко и сухо, как мертвая ветка, в глаза плеснуло огненно-красным – да, это смерть, вот это как, оказывается... всё... Всё.

- Ты опять ушел, Ученик. Так нельзя. Ведь это вовсе не грустно – то, что я тебе сейчас показал.

- Я не о том Наставник. Я подумал о ее матери. Она вернется на следующий день – и узнает? Или ей сообщат сразу?

- Уж о ней не печалься, Пришедший. Хотя она – не наша, но ведь мы и ради нее тоже стараемся. Просто знай, чтобы утешиться: только в тот день она убила двоих детей – своими руками; одного – за деньги, а другого бесплатно: он был сыном ее лучшей подруги. А до этого... постой... две тысячи одиннадцать. Потеряв дочь, она пересмотрит свою жизнь. Хочешь увидеть ее? Смотри вверх... нет, еще выше... еще: вон та, в белой мантии. На земле – монахиня Феоктиста.

- Я понял, Наставник. Но от этого не становится легче. Позволь опять отойти ненадолго – ведь «Сокол» еще не скоро...

3

- Не во времечко белы слезки выпали... Они выпали межень лета теплого... – напевала Мишуткина старая мамка¹ Орина дребезжающим – точь-в-точь как у их серой козы – голоском.

Весь последний год, укачивая Мишутку после вечерни, она вышивала и вышивала зелеными и алыми нитками все одну и ту же ширинку² – но, то ли ширинка ее была слишком длинная, то ли по старости уж не осталось в Орине хитроручного изрядства³ – а все казалось мальчику, что алого и зеленого узора по-прежнему намного меньше, чем чистого белого полотна.

«Глупость какую бормочет... – раздраженно думал Мишутка, моргая на ровный огонек Орининой лучины. – Как могут снежки – да летом выпасть!». Ему не спалось нынче, потому что, хоть первая ночная стража уже миновала, но за мутной слюдой узкого окошка все еще мерцал теплый оранжеватый свет, и в их с Ориной малой полатке⁴ было душно и жарко, хотелось все время ворочаться с боку на бок на своей маленькой лавке, сбивая в комки тонкую летнюю перину... А туда, на двор, знал мальчик, как раз сейчас пришла бархатная прохлада. Как бы хорошо, если б матушка позволяла ставить ему лавку на ночь во двор, под пышный куст боярышника – спит же так Васятка – и ничего! Попроситься разве у матушки еще раз? Мишутка украдкой глянул на Орину: голова ее упала на грудь, изо рта свисала длинная нитка слюны, корявые руки с вышиваньем замерли на коленях; лучина догорала, слегка чадая. Мальчик осторожно сполз на пол, бесшумно ступая по гладко струганным, до бела выскобленным половицам, легко добежал до двери и, не скрипнув ею ничуть, выскользнул на узкую темную лестницу. Семь невысоких ступенек вели в материнскую светлицу – оставалось только надеяться, что мать еще не спит. Мишутка поскребся у двери, как котенок, и сразу услышал знакомый приветный голос: «Мишутка, ты, что ль? Взойди, свет мой!».

Матушка боком сидела на спальной лавке, в простой льняной срачице, с распущенными волосами, горевшими янтарем в свете сразу двух толстых лучин и, наклонясь к дубовой укладке⁵, быстро-быстро писала что-то острым гусиным пером на большом куске белой голландской бумаги – по какой часто водила рукой сына, показывая ему сложные буквицы устава. В ее светелке тоже стояла липкая глухая жара – и спасу от нее не было.

- Что, не спишься тебе?... – не оборачиваясь, спросила она. – погоди, dokonчу... Там-от на мисе⁶ у меня полоса арбуза в патоке есть – хоть и малая отрада – да покушай пока себе на здравие...

¹ Мамка – няня (арх.)

² Ширинка – полотенце (арх.)

³ Хитроручное изрядство – умение искусно заниматься рукодельем (арх.)

⁴ Полатка – комната (арх.)

⁵ Укладка – сундук (арх.)

⁶ Миса – блюдо (арх.)

Мальчик жадно набросился было на арбуз, предвкушая его сладкую, пахнущую морозом, мокрость – но он оказался теплым и приторным, клейким от густой вязкой патоки.

- Матушка... – робко начал Мишутка... – Ты б велела, как давеча Васяткина мати, мне постелю во дворе постлать... Под боярышником...

Но она не слушала, остро глядя в написанное и удовлетворенно шепча:

- ...богомерзкие книги старого обычая чтёт... «аллилуйю» поет сугубо... троеперстие кукишем предерзко обзывает... Ага... как же подписать теперь... Машка, Ивашкина дочь, купца Афанасия Васильева сына Зотова жена...

С довольным и красивым в полутьме лицом она поворотилась к собравшемуся было показательно всплакнуть Мишутке:

- Думала – оскорбила меня гораздо – и как с гусыни вода. Высоко запурхивает¹ – да как бы не расшиблась, падаючи! Нет уж, Мавруша, добрая жена уж как-нибудь да пущеницу перецапит²! Отберут теперь книги-то твои еретицкие, а саму, небось, с невенчанным-то мужем разлучат, да на поклоны поставят не на одно лето – будешь знать, как женам непорченным их честные уборы в лики швырять... – пробормотала Мария, словно обращаясь к кому-то невидимому, стоящему за спиной сына, потрясла над написанным из маленькой железной песочницы³, улыбнулась и принялась осторожно сворачивать бумагу. – Ну, чего кручинишься? Слышала – стара, да не глуха еще: сейчас велю тебе постелю стелить под нашей березой покляпой⁴ – там прохладой с Москвы-реки веет, а боярышник твой на слетной⁵ стороне, туда рано жара придет...

Просияв, мальчишка с великою резвостью помчался по лесенке, крича на весь дом:

- Эй, челядь! Просыпайтесь все! Мне матушка в эту ночь во дворе стелить велела!

А снежки взяли да выпали.

Ден через несколько они с матерью как раз гостили у вдовой Алены, и в гостевой горнице Мишутка с сыном ее Васяткой, дружком закадычным, сидя на сундуке чуть поодаль от женщин, утешались румяными имбирными хлебцами и глиняными расписными кониками, когда за узким слюдяным окошком в полдень вдруг потемнело, словно неожиданно пришла ночь. Где-то грохнул ставень, брошенный о стену дома порывом дикого ветра, на улице взвыло, как перед концом света, и ребятишки, ничуть не заробев, ринулись на крыльцо, желая подышать свежим воздухом ливня. И остолбенели враз, увидев, как с неба – на сочную зелень, на высокий деревянный забор, на далеко видимую с холма реку, на обезумевшую черную суку и мелко крестящуюся от ужаса молодую холопку косо валят с сизого неба мягкие комья размером с детскую длань... И матери их, и кривая приживалка Фетинья, и мамка Васяткина Гликерья – все столпились позади них на крыльце – и дивились, кто радостно, а кто боязливо.

- Не к добру это, вот поглядите еще... – гнусаво предрекла приживалка, кладя мелкие крестики на своей впалой, словно сухотной⁶, груди. – Двадцать с лишком лет тому солнце среди дня черным стало⁷ – так с Немецкой слободы моровую язву принесло. Ну, а нынче чего доброго и ожидать-то, коли у нас два царя теперь и одна царица⁸... От века такого на Руси не водилось...

¹ *Запурхивать* – залетать или заскакивать (арх.)

² *Перецапнуть* – взять верх над кем-либо (арх.)

³ Чтобы чернила скорее высохали, написанное присыпали сверху песком.

⁴ *Покляпый* – наклонившийся (арх.)

⁵ *Слетный* – южный (арх.)

⁶ *Сухотный* – чахоточный (арх.)

⁷ Полное солнечное затмение можно было наблюдать 22 июня 1666 года.

⁸ Малолетние цари Петр I и брат его Иван V при регентстве их старшей сестры царевны Софьи

- *Хватит жерствовать¹, старая!* – оборвала ее черноглазая Алена. – *Лучше пойдешь, вели еще медку нам подать!* – она подмигнула подруге и мамке: – *А то голова что-то больно ясная, со снежков, наверно...*

Небо неожиданно посветлело, и снегопад как отрезало – будто кто-то там, наверху, вспорол огромную перину, вытряхнул из нее разом весь пух – и ушел. Переглянувшись, мальчишки, не сговариваясь, кинулись вниз с крыльца – и принялись скакать, хохоча, босыми ногами по быстро таявшей рыхло-белой холодной каше, горстями подбрасывать к небу отяжелевшие снежные перья...

Матери по-прежнему, блаженно и глубоко дыша, стояли под высоким навесом, не желая возвращаться в прелую духоту дома. Мишутка умаялся и повлек Васятку на крыльцо, ожидая, что тетка Алена и им предложит угощение – сласти какие-нибудь заморские, на которые так были падки все в доме этой богатой беззаботной вдовы, что даже и челядь ходила уже с черными зубами. А вот у его матери зубы были всегда белые – сам не раз видел, как тайком – от всех, но не от несмышленого Мишутки – чистила она их не только костками из курячих голен, как то рекомендовали умные книги, но квасцами и даже порошком!

И правда, дали им по четыре сахарные фиги каждому – мальчишки принялись лакомиться ими на ступеньках не торопясь, чтобы растянуть удовольствие.

- *А что, – вдруг вспомнила Алена и, помрачнев, поставила свою кружку на перила, – я чай, Мавра-то пущеница – подружие твоя?*

- *Была, – повела плечом Мария, – во времена досюлешие². Раздор у нас вышел с ней, теперь врагиня она мне: обиду нанесла смертную – не знаю, как и к отцу духовному с тем пойду.*

Собеседница молчала. Всегда веселая, словно не помнила в своей жизни никакого злосчастия, она вдруг без улыбки повернулась к Мишуткиной матери, и он, случайно увидевший Алену в тот миг, удивился, как посерело вдруг ее лицо в обрамлении низанных жемчугом ряс³. Когда она заговорила снова, голос ее пресекался:

- *Так это не ты ли, случаем... Та Мария, Иванова дочь... Что изветную челобитную⁴ на нее... в Ямской двор⁵ написала?..*

- *А ежели и я? – гордо вскинулась Мария. – Что плохого в том, чтоб дерзкую пущеницу и еретицу окоротить маленько? Пусть бы судебные ярыжки⁶ книги ее поганые поотнимали, а саму ее в Православную церковь, к духовному отцу вернули. К пользе и епитимья б от него пошла... И муж венчанный, глядишь, обратно бы взял... А то что – только мне одной тычки да алабуши⁷ всякий день от пьяного сносить, как он не на купле? А ей в ее старушечьи лета – с купавым⁸ молодцем любовастая, да без брюхатости?*

Ее подруга отступила на шаг:

- *Маленько, говоришь... Алабуши, говоришь... Епитимья... А про Софьины дванадесять статей⁹ ты что же – не слыхала?*

¹ Жерствовать – вещать (арх.)

² Досюлешие – прежние, давние (арх.)

³ Рясы – бахрома из нанизанных на нити жемчужин или драгоценных камней, украшавшая женские головные уборы (арх.).

⁴ Изветная челобитная – донос (арх.)

⁵ Первоначальное название Земского приказа, в компетенцию которого входили, в числе прочего, суд и дознание по гражданским и уголовным делам.

⁶ Ярыжки – нижние полицейские чины (арх.)

⁷ Алабуши – подзатыльник, оплеуха (арх.)

⁸ Купавый – красивый (арх.)

⁹ Закон правительницы Софьи об усилении наказаний, пытках и казнях для старообрядцев и их приспешников.

- Пошто они мне нужны... – чуть смутилась Мария. – Я еретицей и во сне не бывала...
- А ведь по ним и тебя кнутом было бить положено за то, что с Маврой речи водила...
- Меня? Кнутом?! – отшатнулась матушка, а Мишутку на крыльце взяла оторопь: бежал он раз с холопчиками тайком смотреть, как вора на Лобном кнутом стегали – мясо так во все стороны и летело – и потом унесли замертво; а ежели матушку... Того он и помыслить себе не мог!

- Теперь-то уж не за что... – с горечью отозвалась Алена, а у него отлегло от сердца. – Теперь тебе, пожалуй, еще кунных шкурок от казны пожалуют...

Мишуткина мать вспыхнула и задохнулась, а он, досадливо отбрасывая руку Васятки, тянувшего его вниз с крыльца с намерением утащить в сад за зелеными еще яблоками, напряженно слушал взрослый разговор. Алена говорила прерывисто:

- Из челяди моей девка одна – кума приказного подьячего¹ Дёмки. Так вот, сказывал он ей, что в дознании у них оногды Маврутка-пущеница была. Расспрашивали ее против изветной челобитной некоей Марии, Ивановой дочери – чья жена она была – он того не запомнил, а я-то на тебя и не подумала... Питана была Мавра на пытке в три стряски², да суставы все выломаны, да семьдесят ударов ей дано – а она и на пытке говорила дерзкие речи: в церковь Божию ко отцам духовным ходить исповедатися и тремя-де первыми перстами во образ Святыя Троицы креститесь не будет – то-де печать антихристова; хотя ныне ее и смертию казнят – она-де к тому готова... В срубе ее с другими еретиками жечь хотели, да Бог иначе судил: как с пытки сняли, так из нее и дух вон...

Светлое, мыльной травой с чистотелом измытое лицо Марии пошло пунцовыми пятнами, уста мелко задрожали:

- Так то, может, не наша Мавра, другая..

- Брось, – строго отрезала Алена. – Пущениц на Москве немного, сама знаешь: женитьба есть, а розженитьбы нет³. А чтоб еще и Мавра, да еретица... - она вдруг жестко усмехнулась: – А к отцу духовному ты ходить не бойся: кунных шкурок не добудешь, но ежели мелкое что в тебе обретет – на поклоны не поставит, так отпустит, довольна будешь. Ну, а Господь что на это скажет – то одному ему ведомо... Токмо за дитем-то своим последним пуще теперь гляди: Маврина-то древняя мать-старуха теперь одна да без пропитания, ведь она у нее дщерь единая оставалась, сын на Крым пошел с Голицыным⁴, да загинал.

- Я не ведала... Хотеньем не хотела... Я думала... – залепетала Мария, пятясь от нее и дрожа уже всем телом; на краю ступенек спохватилась: – Мишутка! Собирайся, дружок, загостились мы...

Мальчик снова не очень хорошо уразумел – отчего так размолвилась вдруг его матушка с еще одной доброй своей подругой, но бесхитростное сердчишко его дрогнуло, почуяв страшное не просто где-то в стороне, с чем он к концу младенчества уж и обвыкаться стал, а прямо рядом, едва ли крылом его не задевающее. «Права Фетинья, добром не кончится», – пронеслось у него при взгляде на уж совсем посеревший и расплзшийся, как труньё⁵ на каликах⁶, июльский снег...

- Ты вот что, Мария... – сурово сказала веселая Алена им вослед. – Ты Мишутку своего к моему Васятке больше не пускай. Не оттого что Иудино отродье – а чтоб и мой с ним под расправу не попал, ежели что...

И Мария не огрызнулась, не вскинулась на обидчицу, а, лишь крепче ухватив сына за руку, зашагала с ним прочь со двора.

¹ Подьячий – низший административный чин, часто писец, делопроизводитель, понытчик во время допросов (арх.)

² То есть, ее три раза вздергивали на дыбе.

³ Поговорка.

⁴ В неудачный поход против крымских татар фаворита царевны Софьи Василия Голицына.

⁵ Труньё – отрепья, лохмотья (арх.)

⁶ Калики – странники (арх.)

- Я не спрашиваю, где ты был, Ученик. Не могу запретить этого, но поверь: для тебя же лучше, если ты пока пребудешь в этой Московии, а не в той.

- Эта Московия, Наставник, ту даже не напоминает.

- Тем лучше. Но на самом-то деле она всегда одинаковая – даже когда еще считалась Тартарией – ты позже и сам поймешь. Мне тоже приходилось работать там – в пятнадцатом, потом в двадцатом несколько раз, затем в тринадцатом, а после – в двадцать четвертом. Туда отправляют самых опытных Извечных, потому что работа в той земле трудней любой другой. Ну, а ты, если останешься в Хранителях или Встречающих, пожалуй, до века обречен на Московию: Пришедшие почти всегда работают там, откуда пришли, – по крайней мере, с людьми, родившимися в тех же землях.

- Не знаю, радоваться или огорчаться тому, Наставник.

- Ни то, ни другое. Просто принять как данность, которую не изменить.

- Буду учиться этому... Пока я отсутствовал – сколько прошло здесь, Наставник?

- Четыре секунды, если считать по земному времени. Ты хочешь еще о чем-то спросить, пока они едут?

- Да. Почему род нашей подопечной должен пресечься на ней? То есть, я понимаю это, просто хочу увидеть и соизмерить...

- Видишь ли... Она из тех, кто просто не должен был родиться. Вообще. С ними всегда больше хлопот, чем с теми, другими... Но, поскольку люди имеют свободную волю, а пользуются ею, в основном, во зло... Для начала вот тебе один пример, будет недостаточно – потом покажу и другие.

...Весна не торопилась, но маки в тот год зацвели уже в конце зимы: на серых шинелях солдат и черных бушлатах матросов-балтийцев, на кокетливых пальто нарядных петроградских барышень, на нелепых тужурках румяных возбужденных студентов, над бляхами утративших строгость дворников, на кургузых армячках вездесущих уличных мальчишек – всюду алели пышные революционные банты.

К вечеру буйная толпа на Знаменской площади поредела, но кое-где еще вспыхивали небольшие стихийные митинги «местного значения» – и брадобрей Прошка, ровесник молодого еще века, пока собственной бороды не отрастивший, мечтал пристать к какому-нибудь из них – чтоб не возвращаться в длинную холодную комнату деревянного флигеля в глубине Лиговских дворов – косога, исподволь уходившего под землю. Три окошка жилища, которое делил он по-братски с половым Фомкой и рассыльным Гриней, заглядывали во двор уже как бы из-под мостовой – флигелек выглядел, как не доросший до стола ребенок, что смотрит на яства, стоя на цыпочках и вытянув шею. Дровяные деньги три друга в том месяце уже проели... Ну, положим, не проели, а... Но, в конце концов, то их были кровные, по грошику скопленные чаевые, кому какое дело, на что их потратили уже совсем взрослые парни! В любом случае, топить сегодня было совершенно нечем, дрожать одному под тощим сыроватым одеялом не хотелось отчаянно, особенно сейчас, когда такое дело кругом творилось – революция! Да и вечер страшно хотелось провести с пользой.

- Товарищи! Временный Комитет Думы издал приказ об аресте всей полиции! Всех до одного полицейских – в тюрьму, товарищи! Этих извергов и паразитов, топтавших нас лошаадьми и хлеставших нагайками! Презиравших и ненавидевших трудовой народ! Теперь они узнают, кто есть настоящий преступник, когда мускулистая рука мирового пролетариата дотянется до каждого из них – и свернет его подлую шею! – подпрыгивая от возбуждения на перевернутом ящике из-под вина, по-хозяйски прихваченном на митинг из час назад разграбленной винной торговли, испитым баритоном вещал красивый чубатый парень с дополнительным мазком красного еще и на рукаве.

- Правильно! Свернуть! – одобрительно загудели голоса их отдельного митинга. – Попили налеп кровушки, гниды! Пусть теперь своей понюхают!

Тут и там как по команде запылали костры, потому что вечерний свет стремительно гас, и Прошке подумалось еще: как же красиво! Оранжевое пламя выхватывало из темноты пунцовые банты и полосы на рукавах и высоких солдатских шапках, лица горели прекрасным нечеловеческим огнем.

- Не робей, пацанва! – дружески хлопнул его кто-то сзади по плечу, так что Прошка едва устоял на ногах. – На-кась лучше, приобщись по-солдатски!

И темная рука протянула ему початую бутылку.

- Ты вот скажи, – с напором продолжал солдат, чуть насмешливо глядя, как паренек, притворяясь бывалым и прожженным, торопливо делает большие тугие глотки дармового вина. – Ты городовых – любишь?

Прощка кое-как перевел заколдобившее дыхание, шикарным жестом утер поджатые губы – и бурно потекший нос заодно. Вино оказалось крепким и горьковатым, очень, верно, дорогим, и юный брадобрей сразу почувствовал, как ему словно ударили чем-то тяжелым и мягким по затылку. Голос вернулся не сразу, зато прозвучал, как надо – по-ямщицки сипло и основательно:

- Не-е... Кто ж их любит, поганых... Меня, вон, шашкой раз по спине рубанул – как пополам не перерубил... У-у, сволота!

Скажем, не рубанул его тогда околоточный, а лишь хорошенько протянул – плашмя да несильно – чтоб наверняка отучить с лотков у разносчиков товары таскать. Прощка и не таскал больше, навек зарекся – вспоминая, что с месяц после того лежать навзничь не мог вовсе, а Гриня с Фомкой, в очередной раз обозрев его, голого, сзади, докладывали, как попереk спины переливается от черного к желтому (через синюшный, багровый, фиолетовый, сиреневый, коричневый и зеленый – последовательно) длинный и толстый, как полоз, кровоподтек... Зато теперь перед солдатом он выглядел едва ли не героем, пострадавшим за дело революции.

- Ишь ты... – уважительно протянул тот, почесав затылок под серой бараньей шапкой с красным лоскутом спереди. – Так ты, выходит, не простой хлопец – а борец за рабочее дело!

- А как же! – подбоченился Прощка. – Ясное дело, не капиталист какой-нибудь!

- Господа-товарищи, господа-товарищи! – раздался вдруг сбоку верещащий, будто бабий голос – и тем удивительней показалось, что принадлежит он высокому студенту с длинными волосами и круглыми, полыхавшими из-под фуражки очками. – А у нас городской во дворе живет! Пойдемте, покажу! Он у меня сколько раз, сволочь, прокламации вытаскивал!

- Ура!! – в одну грудь отозвались десятки собравшихся. – Молодец, товарищ студент! Даешь бить городского!

Уже подросшая, словно подойдя на дрожжах, оранжево-черная толпа колыхнулась и тронулась, увлекая Прощку в моргающую редкими факелами темноту; откуда-то густо грянуло знакомое:

- Смело, товарищи, в ногу, / Духом окрепнем в борьбе!

Он хотел радостно подхватить – что-то про дорогу в царство свободы – но от волнения позабыл слова и лишь ускорил шаг, расстегивая на ходу пальтукан: непонятно, почему его вдруг бросило в самый настоящий жар, хоть прикуривать давай. Студент и еще несколько уродливых девиц – тоже в очках и заломленных, как бескозырки, шляпках, вприпрыжку носились туда и обратно по бокам факельного шествия, визгливо торопя и науськивая... А толпа уже начинала втягиваться в зловещую пещеру недалеко подворотни.

По мере приближения к цели, шаги становились все упруже и слаженней, гулко и ритмично застучали десятки сапог и башмаков по черным булыжникам, словно уже не кучка озлобленных крыс неслась покусать врага и отойти в беспорядке, а один голодный великан-циклоп, целеустремленно шагал за добычей с дубиной на саженом плече...

- Во дворе – налево! – суетливо пищал студент, появляясь тут и там с обеих сторон. – Дверь крашенная, звонок бронзовый!

Но звонком никто и не думал пользоваться. В дверь забарабанило сразу множество рук и ног – еще немного, и ее бы попросту вынесли внутрь, как вдруг она быстро и тихо отворилась сама, открывая взорам картину самую мирную, резко полоснувшую Прощку своим несоответствием тому, что творилось снаружи, где десятки горевших революционной яростью лиц разверзали в свете факелов кривые дыры ртов, беспорядочно выплевывая обрывки фраз:

- ...городового подавай!.. ...именем рабочего класса!.. ...арестовать!.. ...приказ Государственной Думы!..

- Онуфрий Петрович на службе, – растерянно отвечала из теплого полумрака, стоя с керосиновой лампой в руках, простоволосая круглолицая женщина, за спиной которой, в проеме второй распахнутой двери, ведущей в комнату, виден был в неярком свете угол накрытого простой скатертью стола, круглый медный бок самовара, зеленый огонек лампадки под двумя темными ликами в тусклых окладах...

Толпа дрогнула лишь на секунду – но одна из очкастых барышень-курсисток, уже без своей потерянной в революционном раже кривой шляпки в числе первых взлетевшая на крыльцо, подняв руку, обернулась к собравшимся:

- Она врет, товарищи! Убийцу покрывает, подстилка полицейская! Не верьте ей, там он, куда ему деться!

Курсистка едва успела отпрянуть и прижаться к перилам крыльца, когда ею же вдохновенная толпа с рокотом хлынула в открытую дверь – и Прошке удалось особенно ловко втечь с нею в крошечную темную прихожую, откуда в ужасе отступала, уронив погасшую лампу, женщина. Она метнулась в угол, закрывая собой короткую детскую кроватку с сеткой, завешенной стеганым голубым одеяльцем.

- Дите не напугайте! Видите же – негу Самого дома! – умоляюще простонала хозяйка.

- Ишь, хоромы какие себе отгрохал, кровопивец! А народ трудовой по сырým подвалам сидит да по казармам, по кубрикам вонючим перебивается! – рявкнул по соседству с Прошкой давешний матрос, угостивший его вином. – Круши тут все, братва!!! Бери, кому что пригланется!!! Это добро на наши трудовые куплено!!! Рабочей кровью полито!!!

Прошка немедленно смекнул, что раз уж ему повезло оказаться в числе первых, то нельзя зевать, пока не опередили. Он тотчас подскочил к буфету, распахнул хрупкие дверцы, счастливо наткнулся на коробку с серебряными ложками, успел запихнуть ее в карман, но рядом уже гремели подстаканниками другие быстрые руки, летели на пол ящички с мелочевкой, кто-то шустро прополз по полу, ловя юркнувшее под комод колечко. Позади с грохотом обрушился стол, взвыла медь самовара, на секунду взлетел крик грудничка, немедленно оборвавшийся, чей-то голос отрывисто приказал: «Да добей уже об стенку это отродье – вишь, пузырится!», женщина завизжала как-то неправильно, по-звериному – как, бывало, орали кошки у них в подвале, когда Фомка смеху ради выжигал у них сигаркой зенки – а чего им зыркать, шелудивым! – на секунду среди общего грохота и рева прорезался голос курсистки: «Товарищи! Товарищи! Так нельзя! Вы же не бандиты и насильники, а народные мстители!» – но ей справедливо велели заткнуться, пока самой не навешали... Прошка рассовал по карманам еще какую-то мелочь, да прихватил с полу орластый, никем не замеченный полтинник, вспомнил про бабу и заработал локтями в направлении эпицентра возни и брани – но ее уже уволокли два матроса за уцелевшую ситцевую занавеску, у которой, отчаянно матерясь в нетерпении, изнемогало в очереди несколько человек. Прошка тоже пристроился среди них, то и дело грозно, как сам был уверен, гнусава в сторону занавески: «Ну, скоро вы там?!! Другим тоже надо!» – но кто-то по-доброму окорачивал его: «Не торопи людей, малец... Дай им полакомиться-то... Всем хватит...». «Не хватит, – снова возник рядом Прошкин знакомец в серой шинели. – Как твоя очередь дойдет – там уже только мешок с костями останется, какая в нем сладость...». Но Прошка, притоптывая на месте и прижимая картуз к груди, лишь упрямо мотал своей круглой бритой головой...

- *Дальше смотреть нет нужды, Наставник. Кто он ей?*

- *Помнишь четверогодника из домика, где потом нашли клад?*

- *Да Наставник. Мальчик станет его отцом, я прав?*

- *Именно. Через двенадцать лет, и тоже случайно. Их обоих даже не было на Мытарствах. Ведь и это еще нужно заслужить. Как бы там ни было страшно – но тот путь ведет наверх, и каждый, идущий по нему, имеет надежду.*

- *Инна выходит из автобуса, Наставник. И тот мужчина за ней.*

- *Я вижу. Это то, что не может измениться. Если б ты знал, как я устал каждый раз видеть одно и то же.*

- *Я все-таки намел побольше листьев на его пути. Смотри, они оба уже во дворе...*

- *Да. Остались две местные минуты. Сейчас он выбежит из двора – и лицо его будет лицом безумца. Тот ее взгляд на лестнице – ты помнишь – он воспринял, как высшее оскорбление своей мужественности; в злой гордыне Инна унизила, пригвоздила его, как к позорному столбу, – и теперь несчастный будет мстить за это всем девочкам, до которых сможет дотянуться. Всего он изнасилует и задушит их тридцать шесть. Младшей – девять лет, старшей – четырнадцать. Его долго не смогут поймать, потому что он из тех, на кого редко падают подозрения. А когда все-таки поймают... Женщины прорвут кордон милиции у здания суда, и он попадет им в руки... Знаешь, даже я, хотя повидал многое, отвел взгляд, когда увидел то, что они с ним сотворили... Но если Инна станет первой его жертвой – то время для нее вернется вспять, и она останется единственной. Когда этот ребенок, наконец, умрет у него руках, преступник ужаснется содеянному, больше ни разу не поддастся отвратительной страсти, и все те тридцать шесть девочек останутся жить и вырастут... Вот почему я устал, Ученик. Я устал видеть собственную несостоятельность. Не хочу смотреть.*

- Но мы должны?

- Пропустим один раз, Пришедший: еще наглядимся, даже ты устанешь... Побудем здесь, у ворот. Уже через... сорок одну... земную секунду он промчится сквозь нас со сжатыми кулаками и пеной на губах. А пока я покажу тебе то, ради чего мы это делаем.

- Я подчиняюсь, Наставник... Но те листья...

- Забудь о них. Смотри.

4

У них здесь даже местное плоское солнце выглядело мертвым, но от него все-таки шел неподвижный, удушливый жар. Беспощадно-бледное, оно слало на раскаленную каменистую землю пронзительный бело-огненный свет, похожий на тот, что горит в операционной – и пыточной. Ему хватило когда-то сил не сдохнуть в первой и не предать – во второй... Может, потому что Сергею тогда только-только перевалило за двадцать, он лишь полгода как надел погоны лейтенанта-летчика и много размышлял о чести. Впрочем, думалось позже с ухмылкой, он сделал бы, конечно, либо первое, либо второе, только чуть позже, если б сначала не встала к столу, пожалев белокожего светловолосого раненого, виртуозная хирургиня-негритоска (честное слово – у той восьмидесятилетней бабули над зеленой маской горели ледяные голубые глаза на густо-шоколадном лице!), и спустя год не вызволила бы его мимоходом пехотная разведка, совсем другое задание выполнявшая во вражеском тылу... Одного сержанта отрядили тащить к своим охреневшего от невероятной боли окровавленного офицера – и паренек ни на минуту не задумался вкатить запытанному оба обезболивающих укола из собственного пакета первой помощи. Разведчик тащил его, словно вынутого из уже принявшейся пережевывать пасти, на своей широкой теплой спине – а Сергей удивлялся сквозь наркотический туман: ведь теперь если парень попадет под лазер – умрет от болевого шока. «Я бы так не смог. Я бы все-таки второй шприц для себя сохранил», – уважительно мелькнуло в уме.

Но оказалось, прекрасно смог. Когда увидел, что недавно золотисто-смуглое, мягкое лицо Рифката Мухамедзянова за последние несколько часов стало пепельно-серым и острым, как у одного из древних, наполовину занесенных песком черепов, которые в этой страшной стране встречаются едва ли не чаще, чем оскольчатые камни... «Привал, Рифкат!». Три укола он ему уже сделал, и, обнажая иглу четвертого шприца, Сергей лишь коротко подумал: «Если не попаду под лазер – можем выжить оба. Попаду – уколюсь или нет, обоим кранты. Не уколю сейчас Рифката – он умрет максимум через час...» – и уже без всяких колебаний закопал в раскаленные камешки пластмассовый колпачок... Подтащил штурмана чуть глубже в тень от случайного небольшого валуна – единственную, драгоценную, лишь головы их укрывавшую от убийцы-солнца, поднес к облепленным коркой жара губам последнюю – две другие выпили – флягу. Сам поглядел на нее – оставалось с четверть – и пить не стал: «Глотну, когда уж совсем невоготу станет, можно еще потерпеть...». Щеки друга чуть порозовели, ресницы дрогнули, открылись запавшие глаза – без блеска, как дыры:

- Не геройствуй, Серый... Мне все равно лучше сдохнуть... Куда я теперь... без обеих ног...

- А сам ты как поступил бы на моем месте? – прошептал, облизывая губы, Сергей и, не дождавшись ответа, усмехнулся: – То-то же... Не ссы, капитан, прорвемся. Протезы тебе сделают – как новый станешь. У Вована из второй эскадрильи – помнишь, старлей белообрый такой, в веснушках весь – так у него от паха всю ногу лазером оттяпало – а биопластмассовую приживили – и ничего, летает. Говорит, даже баба его не сразу расчухала, что нога искусственная. Их теперь как-то так научились делать, что они, вроде, даже теплые на ощупь. А у тебя, считай, вообще полный порядок: оба свои колена целые. И моргнуть не успеешь, как опять вместе полетим...

- Я моей Райке... ни с ногами, ни без ног не нужен... – горько отозвался Рифкат.

Даже в таком крайнем положении он вспоминал о своей шалаве без гнева, давно простив ее гнусное бабье вероломство; Сергей такого не понимал: легче застрелиться, чем бабу, которую кто-то другой попробовал, обратно допустить – пусть хоть на брюхе ползает, стерва.

- Так еще и лучше, – ободрил он друга. – Никто над тобой соплей размазывать не станет... Сейчас дух переведу – и дальше пойдём. Нельзя здесь надолго: заметят – враз каюк, – а в сторону добавил: – И хорошо еще, если враз...

- Я вот о чем думаю... – прерывисто зашептал штурман. – Как они нас... засекли – мы же невидимки... И без звука летаем... А они ведь – варвары... У них и зенитки-то... столетние... или

больше... В двадцать втором веке... похожие пикалки делали – там, у нас... А уж оптика... Как они смогли, Сергей?.. Ведь это узнать надо... Иначе... сколько наших еще...

В этом был весь Рифкат. Даже сейчас, с гладко срезанными молниеносным лазером ногами (в этом, как цинично ни звучало – а был свой плюс по сравнению с обычным осколочным или пулевым ранением: ни кровопотери, ни инфекции – сверхгорячий лазерный луч мгновенно и герметично запаивал срез живой плоти), штурман думал не о своей иссякающей жизни, а о ребятах. И ведь не русский – татарин, креста не целовал, на Коране приносил присягу Российской Империи... И если б он, Сергей, в бою его не знал... А по первоначальному с недоверием отнесся к инородцу, приставленному штурманом – и вот, пожалуйста: не каждый русский так несокрушим, великодушен и щедр... Далек не каждый.

- Трогаемся, Рифкат. Нам бы только до тех холмов доковылять, а там... Там – вода, тень, и вообще проще будет... Может, связь удастся наладить... Ты вот что – ты глаза не закрывай, в небо смотри: вдруг наши дроны¹ заметишь...

Это последнее он так сказал, без надежды, просто чтобы дать парню дело, заставить его почувствовать себя не бесполезным кулем на плечах у товарища, а как бы нужным ему, даже здесь и сейчас – штурманом, а не безъязыкой, мучительно неподъемной поклажей...

Но Рифкат не обманулся:

- Кто их сюда пошлет, в эту жопу... дроны-то... Никто не знает, где мы... Все случилось... так быстро...

Сергей стиснул зубы:

- Неважно. Ты, главное, смотри.

...Солнце вконец обезумело. Его убийственный жар высушивал насквозь, заживо превращая человека в мумию, сворачивая кровь, лохмотьями срывая сожженную кожу – и вот больше не осталось ни воды, ни уколов...

Но холмы уже близко – и Рифкат еще жив.

Раз я сделал этот шаг, значит, смогу сделать и следующий.

- Это, Ученик, далекий потомок одной из девочек, которые вырастут, если умрет Инна.

- Он дойдет, Наставник? И спасет товарища?

- Нет, Пришедший. В тех холмах их ждет засада, и они примут свой последний бой через... Да, через двенадцать минут земного времени.

- Зачем же тогда та девочка должна уцелеть?

- Чтобы дать ему однажды **пойти** по этой каменной пустыне с раненым другом на плечах, Ученик. После того неравного боя он придет в место гораздо более важное, чем то, в которое стремился. А товарища его запишут в Книгу – за то, что он закроет Сергея собой и умрет на две с половиной секунды раньше. Мы здесь и ради него тоже.

- Я понял, Наставник... Как причудливо переплетены меж собой нити людских жизней...

- Так бы не было, если бы люди не вкусили от Добра и Зла. И вот теперь мы выправляем путь каждого – так, чтобы получилось единственно правильно вытканное полотно – и только тогда исполнятся Сроки.

- Я помню... Но где же насильник, Учитель? Уже прошла сорок одна секунда с четвертью.

- О, Боже Милосердный... Неужели... Туда.

Он заметил ее еще в автобусе, когда ехал на утренний спектакль, – и сразу от шеи до копчика словно пробежала горячая змейка, руки затряслись так, что пришлось спрятать их в карманы куртки. Девочка как девочка... Школьница... Как бы не так... О, нет, он бы поклялся чем угодно, что перед ним – не ребенок, хотя и было ей на вид лет двенадцать... Нет, пожалуй, четырнадцать... Или около... Да, не больше. И все же у средней двери, готовясь к выходу, стояла женщина. Его единственная. Долгожданная. Не хватало воздуха. Ну, почему?!! Если бы его интересовали девицы хотя бы на три-четыре года старше – приглянись какая-нибудь, и подошел бы не мешкая: «Девушка, извините, это не вас я видел вчера в Третьяковке?» – и вечером они бы уже резвились в постели у него на даче... Вадим и сам знал, что отказать ему невозможно – с

¹ Дрон – беспилотный летательный аппарат круглой формы, с вертикальным взлетом и посадкой, предназначенный для выполнения различных разведывательных, поисково-спасательных или технических задач (техн.).

рождения имел он особую, роковую, никогда не изменявшую власть над женщинами. Власть, которая была совершенно ни к чему, потому что по-настоящему прельстить его могла только девочка не старше пятнадцати лет – а лучше бы двенадцати-тринадцати. «Когда ты, наконец, женишься?! – ломала руки старуха-мать. – Ты соображаешь – мы с отцом еще в прошлом веке родились – а до сих пор не нянчили внуков! Что, кругом мало красивых и добрых женщин? Не хочешь на своей, на артистке, – да хоть на ком женись, за тебя любая пойдет!».

Спектакль было суждено отыграть дублеру – Вадим едва доскакал до телефонной будки, в холодном ужасе неся кенгуриными прыжками, панически оглядываясь: боялся потерять девчонку в парке, где она, милая прогульщица, принялась упорно охотиться за неблагодарной белкой – он, пока бегал звонить, черта молил, чтоб она не ушла с той полянки... Не ушла. Вадим уселся боком на скамью неподалеку, закинув локоть за спинку, положил ногу на ногу и развернул удачно прихваченную из дома газету: ни дать ни взять – обычный субботний отдыхающий ловит последнее тепло. А сам смотрел на желанную почти в упор и каждым нервом своим чувствовал: вот она. Та самая. И он либо умрет сегодня, либо... А вдруг с ней можно будет... договориться? Эти вовсе не угловато-подростковые, а уверенные женские движения, эти припухшие, будто нацелованные губы... Эта пионерка не девственница – пусть ему хоть сейчас рубят любую руку. Она все знает... Все испытала... Много себе позволила... То, что не каждая взрослая баба... Да нет, глупость – просто девочка одета по-взрослому, вот и все. Мечтает поскорей вырасти, как и большинство из них... Это только его фантазии... Но вот, подбирая что-то в палых листьях, маленькая чертовка наклонилась, стоя к нему спиной. Вадима обожгло так больно и сладостно, что потребовалось несколько глубоких вдохов, чтобы остановить, не дать перелиться через край так бездарно, раньше времени... Нет – либо она совершенно невинна, что *так* наклоняется, либо... она хочет. Не его, конечно, кого-то другого, но... Интересно, про какого ублюдка она думает?! Не может же быть, чтоб про какого-нибудь сосунка-одноклассника! Онаниста с мокрыми руками... Эта не из таких... Вот бросила свою белку и пошла обратно... На автобус? О, черт, только бы не в школу!

В автобусе у него мутилось в голове от одной мысли, что, может быть, пройдет всего лишь несколько минут – и она уже будет извиваться под ним от боли, стыда... А может быть – от наслаждения?... Но как это делается – научил бы лукавый, раз уж подсунил ее... Вот обернулась, хлестнула взглядом – почувствовала? Поняла? Спокойно, спокойно... Куда эта маленькая развратница направляется? Вдруг встретит какую-нибудь подружку или мамашу, и вместе пойдут? Тогда останется только повеситься... Хотя нет, можно выследить, и в другой раз... Пошла к дверям – внимание! Бежит... Торопится куда-то или заметила его? Ну, это уж бесполезно, догнать нетрудно – с его-то ногами... Черт, черт, черт – сколько народу в этом проклятом дворе! Идет вдоль дома, хорошо бы в подъезд – там подвал, и, если никого нет... Она и не пикнет. Или в лифт, на верхний этаж – и на чердак... Как карта выпадет... Скорей, скорей, терпеть уже нет сил... Ага, дорожка вдоль дома, кусты какие хорошие... Оглядывается, сучка... Нет, его не видно, а она меж ветвей – как на ладони... Какие бедра... Ножки... Только бы никто не помешал, ничто... Дьявол, если ты действительно существуешь – пожалуйста! Я тебе что хочешь... Я не буду с глупостями, как Фауст... Что за мысли дурацкие, какой еще дьявол – вон она, сама как юная дьяволица... Счастье, что тут листья влажные под ногами, толстый такой слой – шагов почти не слышно... Снова оглянулась у подъезда, да не туда! Ну, вот ты и попалась, все теперь...

Вадим догнал беглянку как раз в тот момент, когда перед ней пригласительно разъехались автоматические двери узкого лифта – и тут же втолкнул в тускло освещенную кабину, одной рукой зажимая девчонке рот, а другой тыча в верхнюю кнопку. Лифт медленно, очень медленно, со вздрогами и спотычками, потянулся вверх – и там-то уж ему не составит труда загнать ее по маленькой, везде одинаковой лесенке на чердак... Она отчаянно сопротивлялась – горячая, хрупкая – скажите-ка! – а он думал, что ее парализует от страха. Вадим уже только одного боялся: как бы ей не удалось вывернуться и крикнуть... В остальном же шансов у нее было не больше, чем у котенка перед утопителем, быстрые острые удары ее крошечных кулачков, которыми она часто колотила его по животу, только сильнее возбуждали – как будет жаль, если все кончится в первые же секунды, как он ее заполучит... И выйдет, что овчинка выделки не стоила... Нет, надо срочно уgomонить мерзавку – «Затихни, а то сдохнешь прямо сейчас... сладкая маленькая шлюха...» – но у нее, верно, отшибло мозги в те секунды, потому что билась девка уж как-то слишком бешено, зубки так и впились в ладонь – крик был уже где-то близко, даже мычание стало таким громким, что могли услышать... Гадюка, если не хотела – зачем тогда так ходила?! Так двигалась?! Так оглядывалась?! Так наклонялась?! Да замолкни же!!!

Он не слышал, а почувствовал рукой среди возни и стонов, как что-то быстро хрустнуло, будто куриное крылышко, какое он, бывало, так любил смачно обглаживать в конце обеда, когда был уже сыт, – и сразу тщедушное тельце обмякло и повисло в его руках, голова девочки запрокинулась. В ту же секунду с легким жужжаньем разошлись двери, и в наступившей тишине с ее русых прядок тихо соскользнула и шмякнулась на пол до тех пор чудом державшаяся замшевая кепка. Вадим задом шагнул на площадку, таща под мышки сползшую вниз добычу, и наружным, еще не спохватившимся умом соображал, как будет поднимать ее на чердак – но некое внутреннее сознание громко подсказывало ему, что все это уже лишнее, и, главное – мгновенно затихла во всем теле только что бушевавшая оглушительная буря...

Он осторожно опустил свою невесомую ношу на каменные плиты – и голова его жертвы случайно попала в золотой солнечный квадрат. Ничего не соображая, он опустился на четвереньки и легонько коснулся одним пальцем неподвижного, еще теплого лба. Сиреневатые веки неплотно закрытых глаз и чуть приподнятые светлые брови делали не успевшее застыть лицо мертвого ребенка особенно беззащитным, словно слегка удивленным: как – уже? Так быстро? А я думала...

- Господи... – прошептал Вадим, и пальцы его инстинктивно потянулись куда-то вверх, сложившись в неуверенную щепоть. – Господи... Ведь совсем дитя... Как же это я... Почему...

Он не видел и не мог видеть, что позади него на площадке находились трое: потрясенная молодая женщина с волосами до пят и залитым слезами белым лицом поднималась с колен, протягивая руки Двоим, молча стоявшим над нею...

- Вот и все, это испытание ты прошла – и... благодари сего Пришедшего. Он в прошлом – один из вас и сумел помочь тебе лучше, чем я... Я был бы рад сказать, что больше ты не будешь страдать, но... Скорей всего, нам еще предстоит встреча – и не одна. Сейчас иди туда... да, туда – выше. Там встретит тебя твой Хранитель и поведет дальше. Ступай...

- Она теперь снова пойдет по Мытарствам, Наставник?

- Да, и ты немало ей в этом помог... Знаешь, Ученик, тебя уже смело можно считать готовым к самостоятельному служению – конечно, под присмотром пока, но... Буду просить об этом Высших. Ты хочешь узнать о работе Встречающих еще что-нибудь?

- Да, Наставник. Ты сказал, что Инна не должна была родиться. Почему же она родилась?

- В свое время, когда я был Хранителем, я не сумел этого предотвратить. В результате, мне пришлось встать ее Встречающим – я сам наложил на себя такое наказание.

- А почему ты... не смог, Наставник? Разве у Хранителя нет полной власти над подопечным?

- Конечно, нет. Мы можем только наставлять и советовать – ну, и ограждать от бед, когда это позволяют Высшие. Но действуют люди лишь по своей воле, а поскольку она у них злая, разум помрачен, а внутренние очи у большинства закрыты... Часто приходится видеть, как твой подопечный упорно стремится навстречу гибели – и ничем его не пронять, не свернуть... Тебе тоже скоро предстоит такое.

- Ты покажешь мне, Наставник, или это запрещено?

- Отчего же нет? Вот тот злосчастный день – за шестьдесят пять с половиной человеческих лет до того, в котором мы с тобой только что побывали... И за три с лишним месяца до их первой мировой войны.

5

В Санкт-Петербурге, в похожем на именинный торт Измайловском соборе, во время пасхальной заутрени стояла липкая сладкая духота – от дрожащих кисточек пламени множества свечей, зеленоватых клубов ладанного дыма и горячего дыхания многочисленных верующих. Гимназистка-семиклассница Наденька уже корила себя за то, что поддалась уговорам набожной Шурочки Ястребовой, пол-Страстной убеждавшей ее, что пропустить церковную службу на Пасху – великий и строго наказуемый грех. Было так жарко и тяжело, что голова под шляпкой чесалась от пота, мягкий французский корсет, недавно выпрошенный у матери под многочисленные, заведомо невыполнимые клятвы, ощущался не иначе как гибридом вериг и власяницы, а новенькие лаковые ботиночки на шнуровке, которыми Наденька так гордилась еще вечером,

причиняли, казалось, не меньше страданий, чем знаменитый испанский сапог, который надевали на несчастного благородного Ла Моля¹. Она с раздражением покосилась на истово молившуюся Шурочку, чье миленькое, еще не избывшее детской припухлости личико, определенно, выглядело глуповатым, когда подруга восторженно выкрикивала вместе с толпой: «Воистину Воскресе!». Сегодня Надя, вообще-то, обычно любившая эту добрую и безотказную девушку, испытывала к ней самую настоящую неприязнь – происходившую из самой черной зависти, внезапно посетившей в таком неподходящем месте. Дело в том, что Шура честно и по всем правилам отпостилась весь Великий Пост, с трепетом приобщилась Святых тайн в Чистый Четверг – и теперь готовилась простодушно разговеться после заутрени. Дома у Ястребовых – Надя зашла перед службой за подругой на Тринадцатую Роту – стоял дым коромыслом: родители и старшие сестры отправились занимать в храме лучшие места, но сбившаяся с ног принаряженная прислуга еще металась вокруг блестяще накрытого стола... Так что Шурочке через какой-нибудь час предстоял настоящий праздник – с долгожданными лакомствами и подарками, даже лучше, чем на Рождество...

Надя тоже была звана и, разумеется, собиралась пойти, только ничего особенного ей не предстояло – разве что зевать за ночным столом, изо всех сил изображая бодрость. Что ей за радость все эти бесконечные окорока, жирные пироги с гусиной печенью, нарядные пасхи и крашеные яйца – ведь в их доме никакие посты не соблюдались. Надина мама, женщина-врач, после давней смерти мужа воспитывала своих двоих детей в строгости – но отнюдь не религиозной. Она внушала им, что человек обязан быть хорошим сам по себе, не имея над головой вечно занесенной дубинки Божьего наказания. «Кто добр из страха – тот зол», – внушала она Наденьке и Павлику, что был двумя годами ее моложе. Существования Бога она, правда, не отрицала, но смеялась над образом бородатого Мужчины, восседавшего на троне поверх пушистого облака: «Вы же понимаете, что облако – не ковер, чтобы ставить на него стулья! Это всего лишь скопление водяного пара – и любое кресло сквозь него немедленно провалится!». Дети ее прочно усвоили, что Богу, то есть, Высшему Разуму, управляющему всем сущим на их планете, совершенно безразлично, что они едят на завтрак, обед и ужин, с кем соединят потом свою жизнь. Ему важно видеть их добрыми и справедливыми, и можно рассчитывать на счастливую судьбу, только если посвятишь себя гуманистическому служению... Так-то так, но сегодня для многих из этих людей (Наденька исподтишка прошлась взглядом по окружающим лицам, и отчего-то особенно красивым показался ей не молодой породистый поручик, а благообразный, смутно знакомый мужик) жирная ветчина и красное куриное яйцо покажутся лакомством и отрадой... А для нее – обыденной пищей, не очень-то и желанной: совсем недавно заботливая мать, вовсе не протестовавшая против того, чтобы дочка пошла в церковь с подругой по гимназии и «посмотрела русские обычаи», заставила ее съесть перед выходом полную тарелку наваристого мясного супа с ложкой густой сметаны – чтобы не ослабела, если служба затянется... Пасху у них дома, правда, тоже варили – вкусную, малиновую – и яйца брат Павлик любил собственноручно разрисовывать, а уж куличи с цукатами кухарка Прасковья пекла – не оторвешься: мать считала необходимым соблюдать древние традиции и не допускала ни в себе, ни в детях никакого превозношения над не просвещенным пока простым народом. Сама она была образцом передовой женщины, зарабатывая на жизнь себе и детям тяжелым и нужным трудом: с утра – оперировала в Мариинской больнице для бедных, с обеда до ужина – принимала там же в амбулатории бесконечных больных. Дома мать тоже обустроила для своей довольно успешной домашней практики просторную приемную – с пола до потолка в белом кафеле – куда по воскресеньям, а иногда и среди ночи, будя весь дом пронзительными звонками с черного хода, постоянно приходили ее небогатые пациенты. Семья ни в чем не нуждалась, ведя разумный и нерасточительный образ жизни, а дети знали, что мать расшибется в лепешку, чтобы Павлик непременно окончил Университет, а Наденька – Высшие женские курсы...

Она встрепенулась и подтолкнула подружку плечом: пойду, мол, назад ненадолго, там попрохладнее – и стала пробираться ближе к выходу, откуда порой приятно веяло ночной апрельской свежестью. Оказалось – хорошо: где-то, вдобавок к центральной, открыли боковую дверь, и замечательно было встать, разгоряченной, под струю холодного воздуха, незаметно растегнуться, освободить шею, подставить ее освежающему дуновению...

¹ *Ла Моль* – герой романа А. Дюма-отца «Королева Марго», популярного в XIX-XX веках.

- Я только и делал тогда, Ученик, что метался от одной двери к другой, чтобы обе оставались открытыми – все ждал, что простудится на сквозняке, ляжет ненадолго и никуда не пойдет...

- Она не простудилась, Наставник?

- Простудилась. Но это не помогло.

Наденька не понимала, почему насморк считается самой легкой болезнью на свете – и никто не относится к нему всерьез, жестоко обращаясь с изнемогающими от страданий насморочными больными. «Ну, что делать, – ртом будешь дышать», – неизменно говорила мама, отправляя в гимназию кого-то из детей, гугниво канючившего у нее хоть денек передышки. Надя дышать ртом – не умела. Она задыхалась, подсакивала, обливалась слезами и соплями, вырывая из носа фитили с мазями и швыряя их через всю комнату, а когда сопли густели – то и дело ворочалась по ночам с боку на бок, чтобы дать им возможность перетечь из верхней ноздри в нижнюю, чтоб хотя бы одной, на время освободившейся, кое-как подышать... Девочка умоляла мать закапать ей эфетонину¹ для облегчения мук – но та неумолимо запрещала это «баловство» почти всегда, кроме уж самых «непробиваемых» случаев.

И сейчас такой случай как раз настал: Надя заболела прямо на Пасху вечером, но ей хватило ума украсть у матери из приемной целый пузырек заветных капель, не выпрашивая их у нее, как милости, – и вот, с утра понедельника лежала у себя в комнате на диване, одетая, лицом к стене, и несчастная до крайности. Она теперь уж и вовсе не сомневалась, что жизнь ее навек разбита, любовь поругана, и впереди – только море одиночества, болезней и людского равнодушия... Еще в соборе во время службы, когда удалось немного охладиться и переключить мысли от сиюминутного неудобства на главное, Наденьке стало ясно, что Коля к ней не вернется никогда. Отец его – какая-то важная шишка в Адмиралтействе – уехал с семьей к новому месту службы на юг России, и письма от возлюбленного, определенного там родителями в выпускной класс местной гимназии, – поначалу страстные и мучительные, потом грустно-ласковые, а последнее время – уже дружески-прохладные, приходили все реже и реже, а любовь к Наденьке и мечты об их скором воссоединении Коленька постепенно заменил восторженными описаниями морских красот и мощи российских броненосных крейсеров. К Пасхе и вовсе пришла только оскорбительная в своей обязательности открытка с пошлыми фиалками, приторно умильными детками и дежурными словами поздравления... Словом, нужно было оказаться уж совсем никчемной дурочкой, чтобы и теперь убеждать себя, что летняя встреча (которая, кстати, находилась под очень большим вопросом) вернет их былые доверительные и нежные отношения. Вдобавок, очень скоро предстояли выпускные экзамены – в восьмой педагогический класс она не пойдет, уж дудки! – и давнишний утробный страх перед злым и ехидным латинистом, с его презрением ко всем женщинам вообще, а к гимназисткам в частности, гадко заворочался в душе, будто глист в кишках. Переэкзаменовка, кажется, обеспечена... *hoc beatam agricola*²... Чтоб ему лопнуть... Хотелось отравиться, глотнув из какой-нибудь склянки в приемной, но было жалко маму – а на Павлика и Колю наплевать.

Достав из-под подушки пузырек и пипетку, Надя закапала себе в обе ноздри по щедрой порции эфетонина – и ей ненадолго полегчало. Хоть бы Наташа фон Берг телефонировала! Они познакомились еще в десятом году, летом, когда обе семьи снимали для детей соседние дачи неподалеку от Гельсингфорса – и с тех пор дружили и в городе. По воскресеньям и праздникам ходили вместе в Летний сад или на общественный каток в Юсуповский сад, устраивали на Рождество детские любительские спектакли, купили недавно вскладчину волшебный фонарь... Наташа жила далековато – на Бассейной³, но обе девушки всегда находили лишний двугривенный, чтобы встретиться где-то посередине пути от одной до другой и хотя бы просто поболтать в скверике или прогуляться вдоль Фонтанки, если уж совсем не было денег, чтобы погреться в

¹ *Эфетонин* – капли с небольшим содержанием наркотика и алколоида (впоследствии *эфедрин*), применялись для быстрого облегчения симптомов насморка в первой половине XX века.

² *hoc beatam agricola* – этот счастливый земледелец (лат.), традиционное словосочетание из учебников латинского языка, которое и по сей день предлагается просклонять по падежам.

³ Ныне ул. Некрасова.

кондитерской или полакомиться жареными пирожками у Филиппова... Небогатые фон Берги оба преподавали, дочь у них была единственная, а стало быть, балованная – и училась в Павловском институте¹, который терпеть не могла, завидуя гимназической свободе Наденьки. Но минувшей зимой обрушилась на Наташу страстная любовь к кадету Жоржу Волкову – вполне, впрочем, взаимная, так что обезумевшая от первого счастья Наташа все выходные и праздники проводила теперь уже с ним, отдавая подруге только те редкие дни, когда Жоржика за какую-нибудь провинность лишали в корпусе очередного дневного отпуска... В этот раз Наташа положительно обещала телефонировать ей на второй день Пасхи вечером, если родители уйдут, как собирались, с визитами, а прислуга разоидется по гостям. Хорошо было бы подняться, встряхнуться, перестать чувствовать себя, как раздавленная жаба на дороге... Когда нет Наташиных родителей, можно всласть побеситься и побояться в ее комнате – обе обожали страшные истории в темноте – и даже тайком выпить немного вина. Но телефон молчал, хотя длинный апрельский день уже порозовел за высоким окном, выходящим на узкую Третью Роту². «Ну, конечно, – обиженно думала Наденька, покусывая подушку. – Если ее родители надолго ушли, а прислуги нет дома – то она лучше со своим Жоржиком будет на свободе целоваться, чем лучшую подругу пригласит... Изменщица...».

- Телефон не звонил потому, что я испортил провод внутри дома, Ученик. Боялся, что она поднимется даже больная – и не зря. Поломку обнаружили и исправили только на следующее утро... Это никому не повредило: я знал, что неотложных больных у ее матери в тот день не будет. На всякий случай посмотри сюда: нежелательные звонки подопечным в девятнадцатом и двадцатом веках устраняются так: видишь этот провод? Переламаываешь его вот здесь...

- Я понял, Наставник. Но ты сделал это напрасно?

- Да. Воля людей не ломается так легко, как провод. А здесь ненароком постаралось несколько человек.

И когда Наденька уже совершенно разочаровалась в людях и дружбе, сочтя свою жизнь окончательно пропащей, звонок прозвенел – но не телефонный, а у парадной двери. Она даже не обернулась: кто к ней придет сегодня без договоренности? У всех сейчас, на пасхальных каникулах, свои веселые и важные дела! А у нее ни Коли, ни Наташи... Хоть бы кому-нибудь она была нужна!..

- Барышня, вас там спрашивают, – горничная просунула голову в Надину дверь.

«О, нет, значит, из гимназии – только не это...» – из своего класса Надя могла хоть как-то терпеть только Шурочку, но та уехала сегодня поздравлять бабушку на Петербургскую сторону.

- Гони в шею... Скажи – болею... Ступай, – гнусаво пробормотала она, но в последний миг любопытство все-таки одолело. – Постой, Дуня. Кто спрашивает-то?

- Из десятой квартиры, Зуевых старшая барышня.

Инженер Зуев со своей полной добродушной женой и многочисленными детьми – было их человек семь, не меньше – жил как раз под ними, точно в такой же квартире на втором этаже. Старшая, почти взрослая девочка – глазастая светлокудрая Мэри – училась, кажется, в каком-то институте, а еще она помнила пухленькую, всю в локонах, Женечку лет десяти. Три младшие девочки – Клава, Валя и Кира – слились в Надином представлении в одного открыточного ангелочка, а два больших сына, чьих имен она не помнила, учились в мужской гимназии на Восьмой. Зуев принципиально лечил своих чад и домочадцев у другого доктора, не доверяя женским способностям в области медицины, семьи равнодушно-приветливо здоровались на лестнице, понемногу судачила меж собой их прислуга, но тем всегда и ограничивалось соседское общение. Странно было предположить, что Надя зачем-то им понадобилась!

- Проси! Не держать же ее в парадном...

Юная соседка при ближайшем рассмотрении оказалась чудо как хороша – и красота ее была настолько светлой и простой, что не вызывала зависти даже у Наденьки, втайне переживавшей из-за собственной «обыкновенности» и отсутствия хоть одной запоминающейся черты своего прозаичного лица. А эта... Пушистые кудри, большие и наивные серые глаза, изумительная чистая

¹ Институт благородных девиц на Знаменской ул. (ныне - ул. Восстания), куда принимались девочки из семей разночинцев.

² Ныне 3-я Красноармейская ул.

кожа матового оттенка – такая девица точно не будет знать отбоя от женихов... И уже, наверное, не знает... Сколько ей? Лет пятнадцать?

Мэри механически сделала изящный институтский книксен.

- Je vous demande pardon¹, что беспокою вас – я не знала, что вы больны. Но мне только что телефонировала моя... скажем так... l'amie principale²... по институту, Наташа фон Берг. Видите ли, она никак не может соединиться с вами: телефонная барышня все время говорит, что связи нет. Вероятно, что-то на линии... Так вот, зная, что я живу на Третьей Роте, она проинтересовалась, далеко ли от меня дом два. Я ответила, что в нем и живу, в квартире десять – а она так обрадовалась! И говорит: сбегайте, душка, прямо сейчас в двенадцатую – она ведь, должно быть, над вами? – спросите там Надю и передайте, что я ее жду, как договорились – она поймет. Ну вот, собственно, я вам и передала. Но, раз вы больны... Может, телефонировать ей от вашего имени, что вы не сможете?

- Нет, нет, я буду! Телефонуйте, что, наоборот, – еду! – отбрасывая колючий шерстяной плед, Наденька уже вскакивала с дивана. – Не могу больше лежать, все тело закостенело... Будь что будет, эфетонину с собой возьму... Ах, милая Мэри, спасибо вам за вашу доброту!

Хотя и зная, что дома у Наташи, как и положено в Пасху, полно всякой вкусной снеди, являться в гости с пустыми руками Надя считала не очень приличным, а деньги – целых четыре рубля – ей удалось скопить из своих подарочных. Поэтому, до того, как кликнуть извозчика, она пошла, пригнув против ветра голову во взрослой парижской шляпе, чтоб не быть узнанной каким-нибудь некстати подвернувшимся учителем, в сторону Измайловского проспекта, где рядом находились виноторговый магазин и лавка восточных сладостей. Сначала она уверенно забежала во вторую с намерением купить за тридцать копеек двухфунтовый кирпичик косхалвы. В этой лавке ее продавали не с привычным арахисом, а с цельными орехами фундука, и клали их так щедро, что сливочно-белый брусок получался как бы весь в крупных коричневых бородавках. Имелся здесь и еще один небольшой фокус: иногда брусок весил меньше двух фунтов, и тогда приказчик длинным тупым ножом откалывал от особого, специально для этого предназначенного и весьма уже изломанного брусочка небольшой ломтик – и клал его на весы в качестве довеска, который тут же покупателем и съедался – а что с ним еще делать... Много лет это было одним из нескольких маленьких тайных счастливых Наденькиного детства – наряду, например, с редко-редко обретаемой в тарелке супа настоящей сладкой-сладкой мозговой косточкой. Каждый раз, подходя к лавке, Надя загадывала: если сегодня мне будет довесок, то... – и дальше четко проговаривалась дежурная девичья мечта. Но в этот раз она плохо себя чувствовала и впервые ничего не загадала, а когда вспомнила – то пожалеть не пришлось: довеском ее приказчик не порадовал.

В винную торговлю Наденька вошла уже гораздо более робко, гадая про себя – выглядит ли она распушенной гимназисткой или все-таки уже тянет на взрослую барышню, что вполне может купить вино для праздничных нужд.

- Мне надо шампанского, любезный... – с преувеличенной уверенностью начала она, и молодой развязный приказчик, с насмешливой пронизательностью глядя ей в шляпу, зачистил:

- «Вдову Клико» желаете или «Пол Роже»? А может быть...

- «Помпадур Розе»! – гордо отрезала она, удачно вспомнив название, прозвучавшее на днях из уст матери, когда та заказывала кухарке пасхальный обед.

- Сию минуточку-с, – поклонился он и вскоре вынес бутылку кипучего розового вина...

- Тебе может оказаться понятней, чем мне, Ученик. Видишь ли... Надежда проживет еще более двадцати четырех лет – восемь тысяч девятьсот девятнадцать дней – но среди них почти не будет таких, когда она бы не вспомнила вкуса той косхалвы и шампанского...

- Она тоже поняла, Наставник, что этот день был решающим?

- Да. Почти сразу. Всю жизнь оглядывалась на него и думала: а если бы я не пошла тогда к Наташе – как сложилась бы дальше моя жизнь?

- И как же, Наставник?

¹ 1 Je vous demande pardon – прошу прощения (фр.)

² 2 l'amie principale – старшая подруга (фр.)

- Тоже невесело, но не для стольких людей. Вскоре начнется большая война, потом в той стране произойдет кровавая революция – и опять война. Надежда переболеет тифом и холерой, будет жестоко голодать, ворочать мешки с дровами и гнилой капустой, потеряет от цинги почти все зубы... Мать умрет от пневмонии у нее на руках, а брата расстреляют. Замуж она так никогда и не выйдет, потому что всю ее силу заберут болезни и печаль, а красоты у нее и с самого начала не было. Она станет именно тем, чем быть не хотела – учительницей математики – и посвятит свою одинокую жизнь чужим детям, которые зато полюбят ее. В горе она вспомнит и о Церкви, и уж не будет маяться от скуки на службе, попав в незакрытый и непоруганный храм... Проживет она на три года дольше, чем в случае, если пойдет к подруге – и ее застанет на земле вторая большая война. Конца ее Надежда не увидит, потому что по пути в эвакуацию попадет в поезде под бомбежку и погибнет мгновенно, даже не успев понять, что умирает... Если хочешь, можешь взглянуть на нее. Нет, не там – ниже... У подножия северного склона...

В передней фон Бергов счастливая, розовая, как шампанское в хрустальном бокале, наспех застегнутая Наташа, с губами, похожими на маленький растрепанный пион, провожала любимого Жоржика. Он обязался не позже семи добраться с поздравлениями до богатого строгого старика-крестного, имевшего весьма похвальный обычай дарить крестнику на каждый праздник по красненькой¹, которую влюбленные планировали завтра же прокутить у Дюка – причем, Жорж уже почти уговорил Наташу взять отдельный кабинет...

- Их любовь тоже плохо кончится, Наставник?

- Я ими не занимался, но давай посмотрим... Нет... Не успеет. Георгий через десять месяцев погибнет в Мазурских болотах² от заражения крови – а Наталия умрет почти одновременно с ним – родами... За страдания им будут облегчены Мытарства, и они благополучно пройдут их – каждый с небольшими задержками... Ничего особенного, Ученик. Давай не будем отвлекаться.

- До чего осточертела мне, барышни, эта серая шкура! – небрежно говорил Жорж, интересный темноволосый юноша с быстрыми вишневыми глазами, застегивая перед зеркалом кадетскую шинель и поправляя фуражку так, чтоб она выглядела чуть-чуть более лихо, чем позволялось.

- Потерпи до осени, – нежно одергивая на нем вовсе не нуждавшуюся в том полу, отозвалась Наташа. – В юнкерской черной ты будешь смотреться неотразимо, и я влюблюсь в тебя еще раз...

- И я, чего доброго... – с деланным смехом поддержала Наденька, снимая шляпу и встряхивая своими пепельными, коротко остриженными волосами.

- Сразу видно – пойдешь на Курсы, – одобрительно кивнул ей Жорж.

- А куда еще... – притворно вздохнула она. – Не замуж же...

- Ой, девчонки, совсем забыл! – прыснул вдруг при этих словах кадет, оборачиваясь в дверях. – Я вам сейчас такое расскажу – животики надорвете... В тебя, – он невежливо ткнул пальцем в Надю, – наш Тюля по самые уши врезался. Со мной вчера после заутрени разоткровенничался. А как узнал, что пойду к Наташе... Ой, не могу, умора!.. Замолви, говорит, за меня перед Наденькой словечко, если увидишь! Вот я, считай, и замолвил... Ну что, Надя – может, замуж вместо Курсов, а? А я шафером буду... – он махнул рукой и подтянулся: – Ну все, лечу... А то мой старый хрыч мне за опоздание, чего доброго, штраф назначит... – он шуточно отдал честь и ловко выскользнул на лестницу.

Тюля? Да, Надя помнила его: Юра Тюленев, высокий, мешковатый и неуклюжий, неизвестно как попавший в кадеты юноша – вероятно, родители, особо не задумываясь, просто отправили сына по обычной в их кругу дороге – и в самом деле похожий на грустного тюленя с красочной иллюстрации к статье «Ластоногие» в энциклопедии Граната... Он сидел, откинувшись на диване, в стороне от танцующих, когда праздновали у фон Бергов последнее Рождество, и не

¹ ¹ Красненькая – десятирублевая купюра в Царской России (жарг.)

² Героическая оборона окруженного в Августовских лесах в районе Мазурских озер в Восточной Пруссии 20-го русского корпуса против втрое превосходивших по численности германских войск 25 января – 13 февраля ст.стиля 1915 г. в ходе Первой мировой войны.

сводил с нее слегка раскосых, ярко-голубых глаз... «Ну и дурак, – раздраженно думала она в те минуты, вальсируя с веселым взрослым студентом-естественником. – Если я ему нравлюсь, так подошел бы, заговорил... Что проку паялиться, как баран на новые ворота!»... Но сегодня, когда по спине словно бегали тысячи холодных мышинных лапок, в тяжелом лбу переливалась густая, тягучая боль, а беленькая, крошечная, как шпиг, Наташа и не думала скрывать своей торжествующей радости перед подругой, которую недавно постиг жизненный крах, – сегодня и незадачливый Тюля не казался ей жалким рохлей... А что? Он окружит ее заботой и вниманием, станет баловать, посылать цветы и конфеты, водить в синематограф... А летом покатает на лодке, подержит над ней зонтик в дождь или зной... Но уж никаких поцелуев – хватит, нацеловалась! Чувствуя себя любимой и нужной, она постепенно оправится, выздоровеет душой и телом, запишется на Курсы – юридические или литературные? – ладно, это потом... Появятся новые знакомства... Настанет совсем другая, взрослая жизнь... А Тюля... Да такому туповатому пентюху в любой момент можно дать отставку!

- А знаешь что, Наташа? – задумчиво протянула Наденька, все еще глядя на захлопнувшуюся за Жоржиком дверь. – Ты скажи ему – пусть этому своему Тюле мой телефонный номер даст. Так, смеха ради... Мне, может, развеяться нужно...

- Ну и развейся. Полно тебе горевать... – легко согласилась подруга и затеребила ее: – Так что в сверточке-то у тебя? Признавайся, грешница, – сверточек-то тяжелый!

- Пожалуй, достаточно, Пришедший. Все уже ясно.

- Не совсем, Наставник. Что, в этом Юрии – корень ее бед?

- Корень бед только в самом человеке. А Юрий – вовсе не рохля, не пентюх и не тюлень. И уж тем более он не туповат. Когда он телефонирует Надежде и они встретятся, она сразу поймет, что он умен, образован, необычен, по-своему красив и вообще не похож ни на кого другого. Тогда она полюбит его – так мощно, жертвенно и безоглядно, как редко любят там, на земле. Они вскоре, уже осенью, обвенчаются, но детей у них долго не будет, и Алла, мать нашей Инны, станет через девятнадцать лет их единственным ребенком. Она родится уже после того, как отца арестуют и казнят. Надежда умрет от рака, когда дочке будет только шесть лет, и девочку возьмет к себе вдова Павла, Надинога расстрелянного брата. Что дальше – тебе известно.

- Я, возможно, миллион раз неправ, Наставник, но не могу усмотреть ничего плохого в той л ю б в и , ч т о т ы м н е с е й ч а с о п и с а л .

- В ней и не было ничего плохого – и все же лучше бы она не начиналась. Пойдем немного дальше – там прошло четыре года. Но прежде укрепи себя. Даже мы не на все можем смотреть б е з т р е п е т а .

Арестантам никогда не говорили, что ведут их расстреливать – понятно, почему: чтобы избежать всяких там женских истерик, поповских молитв на исход души, да чтоб запуганное офицерье не вспомнило вдруг про свою затоптанную беляцкую «честь» и не решилось на какой-нибудь мелкий бунт по пути в подвал.

- Внимание, арестованные! – распахнув дверь камеры, рывками туда Юра или Матвей. – В камере будет производиться дезинфекция, поэтому все вы временно переводитесь в другую. Прошу следовать организованно, соблюдать в коридорах тишину и порядок.

Они и соблюдали, овцы поганые, – покорно шли, куда велели, исподтишка косясь по сторонам, что было, вообще-то, запрещено, но тут не препятствовали: максимум через пять минут всем им предстояло превратиться в бессловесные уродливые туши – так что какая разница, что они там углядят... По лестнице вниз – и первая дверь налево. Ее отпирали, и смертничков всем гуртом так туда по инерции и всасывало; правда, пока подтягивались задние ряды, в передних возникало легкое недоуменное бурление при виде багровых стен и плохо отмытого пола с косым стоком – но тут уж не церемонились: пинками заталкивали последних, быстро пропускали ребят с маузерами – и те начинали пальбу. Юра на это не смотрел (хотя не слушать – не удавалось, и тут его не так выстрелы смущали, как постепенно спадавший вой и визг), стоял с другом в коридоре; у них с Мотькой, как у старших по команде, была задача только побыстрее прикончить недостреленных. Сам он старался это делать аккуратно – четким выстрелом в лоб, висок или затылок – что у кого оказывалось подставленным – из родного трофейного револьвера, вынутого когда-то после боя из окостеневшей руки белого офицера – пажа, судя по перстню, который снимать не стал – и никогда ничем подобным не занимался: этим пусть пробавляется

несознательное быдло, а он не мародер – он идейный красный комиссар, всегда чисто служивший делу революции. Мотька же предпочитал штыком – с оттяжкой, особенно если попадалась ему девушка с умоляющими глазами или гимназист какой-нибудь, откровенно пищавший «Дяденька, не надо...». Юра потом долго топтался во дворе, сапоги от крови – и еще какая там требуха налипнет – то снегом, то травой, то листьями по полчаса отчищал. А Мотьке – хоть бы что: у меня, говорит, отец резник был – привык я...

- Довольно, Наставник, я видел и осознал.

- Ты еще ничего не видел, Ученик. Досмотрим до конца.

Но сегодня вышла кошмарная неувязочка: как погнали по коридору очередное убойное стадо, окошко одной из камер, имевшее, как потом выяснилось, замок с дефектом, вдруг распахнулось от мощного толчка изнутри, и за решеткой показалось желтое лицо той чахоточной эсерки, что при водворении в их Чрезвычайку крыла конвоиров таким изобретательным матом «в тридцать девять накатов с переборами», что даже из дежурки ребята в кожанках сбежались послушать и поучиться. «Во дает, баба! – уважительно качали головами некоторые – а были среди них и бывшие балтийские матросы. – Таковую даже в расход выводить жалко...».

Но сейчас эсерка не материлась, а, увидев в коридоре человек десять, среди которых были три ощипанные институтки, заплаканная вдова уже прихлопнутого присяжного поверенного с двумя жавшимися к ней детьми-подростками и четверо парнишек-кадетов, неожиданно звонким для своей болезни голосом крикнула:

- Товарищи! Не верьте им! Вас ведут на расстрел! Из этого подвала никто не возвращался! Долой узурпаторов революции!

Мотька подскочил к двери и быстро захлопнул форточку, изо всех сил прижал ее обеими руками – но было поздно. На несколько секунд Юра остался со своим револьвером один охранять смертников – и тут кто-то из бывших кадетов, ловкий, видать, малый, не сдрейфил и выхватил маузер из кобуры на секунду повернувшегося спиной Мотьки. Умел бы он им пользоваться – и чекисту бы тут же хана, но парень замедлил на миг, разбираясь с незнакомой системой, и этого мига Юрке хватило, чтобы красиво всадить ему пулю в центр лба. Но маузер-то отлетел не к пятившемуся в ужасе Мотьке, а прямо под ноги другому кадету – и тот тоже не растерялся: дважды выстрелил в сторону Юры, промазал, институтки истошно завизжали, кадет палил в белый свет как в копеечку, вдова принялась закрывать собой отпрысков и что-то голосить на тему «Это же дети!!!», справа и слева из запертых камер понесся рык и стук... Помощь уже спешила – со всех сторон слышался тяжелый топот ног – но пока обескураженные ребята добежали до Юры, ему самому пришлось положить из револьвера еще шестерых из десяти арестантов прямо тут, посреди их некогда мирного коридорчика... Когда патроны кончились – живы были только две безобидные институтки, уже лишившиеся голоса со страху, и мамаша, вдруг грозно восставшая от своих еще трепыхавшихся на полу мальчишек. Она подняла окровавленную руку и мертвым взглядом уперлась Юре в лицо: «Проклятье на твой род, – сказала она спокойно. – Проклятье на твой род до четырнадцатого колена». Кто-то из ребят тут же выстрелил в спятившую бабу, она свалилась ему под ноги, а Мотька тем временем успел пригвоздить к стенке штыком выхваченного у кого-то ружья уже вторую институтку, которая смотрела на него огромными, совершенно белыми, выкатившимися шарами глаз и молчала, хватаясь голыми руками за хрустко ворочавшийся в ней штык. Первая колотилась на полу, зажимая перерезанное горло, и никто не торопился ее прикончить. «Хорошо, что у нас с Надей детей нет... А она еще жалеет об этом, дура...» – проскользнула у Юры суеверная мысль; он хотел перевести дух, но никак не мог.

Рядом встал закончивший свое дело Мотька, положил руку другу на плечо.

- Если б не ты... – Он помедлил и повернул к Юрке свое красивое бледное лицо с пасмурными ночными глазами, никогда не блестящими, будто вырезанными из траурного бархата. – Я тебе тоже одну услугу хочу оказать. Это не всем... – он кивнул в сторону суевившихся в коридоре чекистов. – Могут понять неправильно. А ты вот что...

Мотька быстро сунулся в закуток для дежурного и сразу же появился оттуда с тонким стаканом, на ходу выплескивая из него остатки чая. Сделав несколько шагов, склонился над потерявшей сознание, но еще булькающей институткой, жестко отвел ее судорожные руки от шеи, из которой иногда толкалась алая кровь, подставил стакан под рану, подержал – и вернулся к тяжело дышавшему Юре, протянул:

- Вижу, ты никак не разучишься переживать. Пей. Сердце как каменное станет. Проверено¹.

Юра не сопротивлялся – он твердо взял теплый стакан и, выдохнув, выпил уже начавшую густеть кровь до дна – как подогретое молоко, только солонее... Вернул товарищу, встряхнул головой, будто после водки.

- Ну что, легче? – Матвей хлопнул его по плечу и слабо ухмыльнулся: – Только забыл предупредить тебя, друг... С бабами ты по-прежнему сможешь, даже еще лучше, но... Без любви. Навсегда.

- *Останови это, Наставник. Ты забыл, что я не Изначальный. Я пока не могу, как вы.*

- *А мы уже видели все, что надо. Пойдем.*

- *Скажи... Такое можно исправить на Мытарствах?*

- *Нет. Он переполнил меру и обрек себя. Люди иногда делают непоправимое.*

- *Я не про него, я про Надежду. Почему ее не возвращали в тот день миллионы раз, чтобы она превысила свою критическую массу и однажды не пошла к подруге?*

- *На Мытарство отправляют за содеянное неискупленное и не отмоленное личное зло. А в ее выборе не было зла. Это был просто – выбор.*

- *А как же Инна? Ведь не злом было убежать от убийцы?*

- *Ее злом было то, что она обернулась на лестнице, Ученик, и посмотрела на него... так, как посмотрела. Один тот взгляд отразился на сотнях людей – ты знаешь о некоторых, двоих даже видел.*

- *Благодарю тебя, Наставник, хотя сегодня ты преподнес мне один из самых сложных и тяжелых уроков.*

- *Рад работать с тобой, Пришедший. Я обещал показать то, что в свое время тебе запретили прозреть самому. Теперь можно, смотри.*

Часть вторая

*Яко тысяща лет пред очима Твоима, Господи,
яко день вчерашний, иже мимоиде, и стража ноцная.*

Пс. 89, ст.5

1

Боль имеет цвет – красный. Ярче, чем кровь. Зато у нее нет звука – все тонет в твоём собственном крике, которого ты не слышишь. Боль всех равняет – холопа и дворянина, богатыря и девицу. Раньше он слышал, что именно женичины оказываются более стойкими на дыбе, а мужчины, захлебываясь слезами, рассказывают все, уже когда палачу только делают знак вздернуть пытаемого еще раз... Второе он блестяще доказал, а первое... Хотя Ефросинью² не пытали – она сама с охотой – еще бы! – предложила извергу и хитрецу Толстому³ рассказать все, что знает, и кого выдала – а кого и оговорила... И его, Михайлу, в числе других. Что с нее взять – рабского звания баба, она царевичу из крепостных Вяземского досталась. И как открыла рот в Тайной Канцелярии с первого дня дознания – так и не закрыла до тех пор, пока не подвела под плаху почти всех, кто окружал наследника Алексея Петровича... Ему, небось, тоже теперь несладко придется – только Михайло об этом уже не узнает. Он сам теперь губитель неповинных: как вырвалось у кого-то из под кнута имя

¹Эпизод со стаканом крови не выдуман автором. Он взят из книги С. Мельгунова «Красный террор в России», Берлин, 1924 г.

² Любовница царевича Алексея Петровича

³ Петр Андреевич Толстой возглавлял тайный политический сыск при царе Петре I.

бывшей царицы Евдокии – так за него и взялись круче прежнего – кому, как не ему, секретарю царевича, было из Тироля, а потом и из Неаполя грамоты возить от сына к матери в монастырь и обратно... А имя Степана Глебова¹ так само из Михайла и выскочило – мимоходом, уж и не считал он, на каком ударе... Этот несчастный преступлений «противу первых двух пунктов»² не творил, всего лишь Евдокию бедную приласкал немного – а жизнь его молодую он, Михайло Васильев, Афанасьев сын, языком своим пресек. Потому как тут и к бабке не ходи – плаха Глебову. Если еще не кол³ – с Петра станется Всю Русь облаынил⁴ ирод, а всем кто за старый обычай стоял – смертушка лютая... Ему, Михайле, хороший палач попался – заботливый: как с дыбы второй раз снял – сразу опять суставы на место поставил, потому как, если сразу не вправить – заплывут плечи с локтями – так навсегда и останутся. Навсегда...

Он усмехнулся: надолго ли?

Сегодня Михайло уже мог даже подниматься кое-как: когда его в неосознанности в камору тюремную принесли и брюхом на тюфяк кинули, то раны от кнута сразу густо обложили капустным листом, чтоб затягивались. Неужели опять на пытку поволокут – о чем его еще спрашивать, все рассказал! Даже как Ефросинья в мужеское платье перерядилась, чтобы с царевичем Алексеем Петровичем за границу бежать. Про всех гонцов, которые письма из замка Эренберг, что в Тироле, Карлу австрийскому доставляли, про то, как потом из Неаполя царевич у шведов армию просил, чтобы с ней в Россию идти войско противу отца мутить... И посла Веселовского выдал, что царевичу сочувствовал и от отцова гнева его укрывал⁵... Сколько покойничков, поди, на совести, да и он, Михайло Васильев, считай, один из них теперь – государев изменник...

Он сполз с гнилого от протухшей крови, вонючего соломенного тюфяка на каменный пол и завыл от бессилия: опереться руками, чтобы встать, не удавалось: вправленные – но ведь разорванные же! – плечи огрызались горячей болью. И ведь не вьюнош⁶ он зеленый – зрелый муж почти что сорокалет⁷ лет – а, когда подымали, визжал не хуже поросся, коего на ветчину режут... Стиснув зубы, он исхитрился подняться на одно колено – перед глазами уже плясали огненные языки – но потом удалось и на ноги встать с Божьей помощью... Нет, окно все равно высоко – не заглянуть. А если б и заглянул – ничего веселого: мощный двор Петропавловской крепости, глухие серые стены... Кажется – гул толпы вдалеке? Неужели и сегодня казнят кого-нибудь? Или это ревет страшная, всегда свинцовая, ненасытная Нева? Какой ужасный город строит здесь этот царь-гордец... Как преддверье преисподней на земле... Мужескому сердцу, знал он, достоин разумом рассуждать о всякой печали, хотя что и печально припадет – того не допускать до сердца своего... Легко о том в книге прочитать, а вот, в крепости сидючи, попробуй...

Ему уже казалось, что все осужденные гибнут только по его вине. Если б он, Михайло, стерпел пытку, как, говорили, Александро Кикин? Нет, не может быть, чтобы Кикин стерпел – он по сути своей трус и прохиндей, бывший денщик, тоже холопья душа... Неужели ж можно стерпеть? Нет, не может быть того... Не зря ведь и Церковь Христова под муками от веры отрекишихся только на три года отлучает – а баб, что рожать не

¹ Тайный возлюбленный опальной царицы Евдокии.

² Государственная измена.

³ Степан Глебов действительно был посажен на кол.

⁴ *Облаынить* – перекрыть на западный лад, в более широком смысле – осквернить (арх.)

⁵ Предположительно, царевич Алексей Петрович имел намерения, опираясь на военную помощь шведского правительства, захватить Российский престол, в чем активно помогали ему некоторые облеченные властью в России люди, недовольные реформами Петра I.

⁶ *Вьюнош* – юноша (арх.)

⁷ *Сорока* – сорок (арх.)

хотят – на пятнадцать. Значит, это по естеству человеческому – при муках отречься? А Алексей-то царевич – чай, не Господь!

И все равно горечь и отвращение к самому себе не отпускали, да еще и заноза одна сидела внутри у него – малая, а цепляла: он уже не помнил, в каком возрасте осознал, что матушка его когда-то на староверку Мавру донос написала – и та на пытке дух испустила. Кончилась – а не сломалась ведь! Руки – сломались, а душа – устояла! А ведь ее – помнил он, хоть и шесть годов всего было, когда слышал, – в три стряски пытали, не в две! Ах, да что там... Он-то на первой все выложил, а второй раз Толстой его так, для порядку велел вздернуть... Вспомнил Михайло, как, бывало, с удовольствием смотрелся в великое зеркало¹ – аравитской² меди, от матери покойницы досталось – и видел кряковнистого³, как дуб столетний, мужа с суровым пронизательным взором из-под насупленных бровей – не щипа⁴ какого-нибудь пустопорожнего... Казалось, никакая буря не возьмет – и вот,хватило одной стряски... Всех предал, и впереди – только плаха... Уже не так страшна она видится, потому что страшней – с этим жить... Господи, яви последнюю милость: только бы плаха – не кол!

Почему так шумит за недоступным решетчатым окном толпа?

- Ну что, Пришедший, не жалеешь теперь?

- Я не жалел никогда, Учитель, – просто хотел знать, почему. Теперь знаю.

- Я призвал тебя, чтобы сказать, что Высшие позволили тебе самостоятельное Хранительство. На первый раз – ненадолго, всего около семи земных лет. Когда нужно будет отступить от подопечного – тебе скажут, что делать. Отправляйся снова в свою Московию... Ты не рад?

- Я боюсь ее, Наставник. Век хотя бы не семнадцатый? Не восемнадцатый?

- Нам не к лицу бояться. Мы, Изначальные, так и вовсе этого не умеем – хотя и трепещем иной раз там, на земле – но не от страха, а от высшего ужаса. Ты его тоже неизбежно познаешь. А сейчас у тебя, Пришедший, главная задача – приобрести бесстрашие. Но на этот раз не смущайся. Высшие учли твой опыт и не хотят мучить понапрасну... Может быть потом, когда наберешься уменя... Нет, век – двадцатый. Хотя по мне – так семнадцатый спокойней, а восемнадцатый веселей. Но тебе лучше знать...

- Ты будешь по-прежнему со мной, Наставник?

- Не всегда. Я занят Инной – она вновь на Мытарстве, как мы и предполагали. Но наша с тобой связь теперь неизменна. Если встретишь трудности – стоит только позвать меня... Ну, вот, знакомься. Его зовут Димитрий, и родился он в том городе, который ты только что видел...

- Питербурх⁵... Я чувствовал, что мне никуда от него не деться.

- В двадцатом его называют иначе. Кроме того, ты уже видел Москву примерно того же времени – много ли в ней было сходства с той, что ты знал раньше? Так и Питербурх...

- Ты прав, Наставник, прости мою строптивость. Я отправляюсь и жду твоих указаний.

- Иди, Ученик, – и постарайся не ужасаться. Земной ужас так часто оборачивается спасением...

2

Росту в Маргарите Сольцовой был один метр восемьдесят три сантиметра – и удивительно еще, что она них остановилась. «И куда ты растешь?!» – в настоящем отчаянье восклицала мама, чья голова вместе с прической едва-едва возвышалась над плечом дочки, заканчивающей гимназию. И платья, и юбки для любимой «Маргаритки» она заказывала с большим запасом не в

¹ Зерцало – зеркало (арх.)

² Аравитский – арабский (арх.)

³ Кряковнистый – кряжистый (арх.)

⁴ Щипа – щеголь (арх.)

⁵ Изначальное название города.

ширину, а в длину – подол всегда приходилось основательно выпускать не позже, чем через три-четыре месяца. При всем том у Риты были узкие острые плечи, длинные руки и неуклюжая, загибающаяся походка, а в довершение впечатления, ее мягкий невыразительный нос украшали круглые черные очки с выпуклыми линзами. Все материнские попытки как-то украсить девушку – дорогими ли нарядами, особенной ли прической, идеальными ли манерами – неизменно терпели обидный крах, потому что сама Рита от природы не умела даже казаться хорошенькой – и научить ее этому чаще всего с рождения присущему женщинам искусству не могло ничто. Замечательные шелковые платья всегда выглядели на ней, как на кухарке, вырядившейся в дареную барыней поношенную вещь, тщательно уложенные матерью при помощи искусной горничной локоны делали ее суженное книзу лицо похожим на овечье и смотрелись всегда растрепанными, а манеры, по мнению всех до единой родственниц, больше пристали мальчишке из ремесленного училища... Родители готовы были дать ей в приданое хоть доходный дом на Миллионной – но молодые люди к ним больше одного раза не приходили, потому что даже распоследний из них понимал, что его приглашают только с целью женить на этой сидящей на мешке с золотом крокодиле, что может стать хуже любого рабства... Мать плакала по ночам. Но ее Маргаритке и в голову не приходило особенно огорчаться – ее мечты текли совсем в другом направлении: она намеревалась стать сестрой милосердия – и это притом, что размер капитала ее родителей позволял им купить дочери любого мужа, по ее выбору. Этим родительница себя и утешала: пусть какой-нибудь и на деньгах Риточкиных женится – но обязательно разглядит со временем, какой золотой души жену ему Бог послал – и полюбит уже по настоящему, а не за глазки-лапки...

В отличие от матери, отец свое единственное чадо терпеть не мог. Всю сознательную жизнь он, если на что и тратил деньги без счета – так это на красивых и ласковых женщин, с которыми сходил без оглядки на тихую жену, кровоточивую, как в Евангелии, и привык считать, что знает в них толк. Полагал, что дамочка может быть любой масти и комплекции – но смазливость для нее обязательна, хотя и не это главное – порода должна присутствовать! Ручки маленькие, лодыжки тоненькие, шейка стройненькая, носик точеный... Мозгов много незачем – курсисток там разных и учительниц от всей души презирал – но голосок обязана иметь приятный, смех – колокольчиком, глазки ясные... Когда дочка только родилась – думал, станет его первой и единственной платонической любовью. А выросла... Разочаровался и стал ею попросту брезговать, а иногда, в минуты тяжкого внутреннего раздражения, искал выпустить пар, отвесив ей хорошую затрещину.

«Что руками размахалась, облизьяна чертова! – рявкнул он на свою уродицу за столом, отвешивая ей тяжелую оплеуху при гостях и прислуге, когда дочь неуклюжим взмахом плоской длиннопалой кисти опрокидывала на хрустящую скатерть свой стакан. – Не рыпалась бы, раз воспитанной барышней держаться не умеешь!» – в ту же секунду он видел, как маленькие, неопределенного цвета глаза за идиотскими очками, розовея, набухали слезой – и у него отлегалось от сердца. «Вот не дам за ней вообще ни копейки – пусть в монастырь идет...» – уже более мирно думал он, в глубине души зная, что на такое все-таки не решится.

В начале войны девчонка, за неделю до того отметившая четырнадцатилетие, вдруг сбежала на фронт, записавшись сестрой милосердия и соврав на комиссии, что ей девятнадцать лет, а метрику-де затеряла (и поверили, солдафоны неотесанные, – ведь дылда же!). Когда удалось найти дочь в полностью готовом к отправке санитарном эшелоне и вернуть (отец застал ее в перевязочном вагоне неловко щиплющей корпию), он с досады взял ее дома за косу и пару раз приложил об стенку для острастки – так, не больно, по коврику настенному протащил, просто чтоб впредь неповадно было. Решила в себе, видно, что раз не красавица – так хоть героиней станет; начиталась, видите ли, газет этих ура-патриотических. Будь его воля – он бы баб ни читать, ни писать не учил, а Священное Писание пусть бы в церкви слушали: потому как если в мозги их куриные еще и пихать чего ни попадя...

В восемнадцатом году после покушения на Ленина бывший купец первой гильдии Осип Сольцов был расстрелян в числе тысяч других заложников, и Рита вдруг с изумлением поняла, что никакого по случаю положенного горя не испытывает... Сердобольные женщины их круга, тоже несшие бесконечные потери, искренне сочувствовали ей («Бедняжка, несчастье какое...»), и мама, как-то вдруг превратившаяся из молодой модной женщины в маленькую старушку с лицом, похожим на потрескавшийся кусок мыла, причитала, уткнувшись в угол дивана: «Нет больше нашего папочки, Риточка, как же мы теперь без него...» – а Маргарита растерянно искала в своей душе хотя бы крохи дочерней скорби – и не находила их ни в каких тайниках. «Никто меня больше не ударит при всех по лицу, – против воли мелькало в ней. – И маму никто не оскорбит, не

унизит...». Она мотала головой, стяхивая прилипчивую крамолу, и начинала усиленно тереть кулаками глаза, чтобы выжать из них подобающую времени и событию слезу.

Профессию фельдшера она все-таки решила получить в девятнадцатом, когда по всему Петрограду пооткрывалось вдруг великое множество всяких бесплатных курсов, где можно было научиться чему угодно – от стихотворчества до коновальства. Достаточно было, не предъявляя никакого удостоверения личности («Теперь не старое время, когда бумажка была в чести, а не человек!»), просто назвать свою фамилию, которую тотчас же улыбчивый молодой человек в кожанке заносил в длинный список; потом он вставал и с широкой светлой улыбкой протягивал записавшемуся руку: «Поздравляю, товарищ! Учитесь на здоровье! Теперь всякий в своем праве!»... На курсах читали интереснейшие лекции лучшие университетские профессора, светила отечественной медицины, и фельдшеры новой формации порой получали не меньше знаний, чем имели врачи – а уж как интересно было учиться! Рост, внешность? Какая глупость, когда так легко и весело жить, все набираются знаний и работают с таким подъемом, полны таких грандиозных, великолепных планов! Вот она, например, получив свидетельство, поедет, как доктор Чехов в свое время, «на чуму» – и там будет свободно и бескорыстно служить людям... Им с мамой нечего есть, ежедневно деля на двоих ее, Ритин, скудный паек из тощих селедок и полфунта пшена? Не беда – вон, сколько дорогих и бесполезных вещей у них осталось от прежнего времени! Обменять их на сало, муку, картошку... Продержимся!

Не продержались. В декабре двадцатого, постояв с утра дотемна на рынке с мужниным пальто, предлагаемым к обмену на два фунта конины, и в конце дня их героически добыв, мама мясному супу так и не порадовалась. К вечеру у нее обложило горло и поднялся жар – такой, что любая еда казалась нежеланной и безвкусной, и сколько ни приставала к ней дочь с тарелкой целительного бульону – больная лишь с отвращением сделала несколько глотков... Вскоре она и вовсе не могла ни глотать, ни говорить из-за множества гнойных нарывов в гортани – и лишь цедила в просветах тяжелого забытья из последней серебряной ложки теплую воду с крупинками выменного Ритой сахару... Порошки, принесенные серьезно качавшим головой пожилым врачом, что руководил на курсах практическими занятиями, не подействовали ничуть, и он потом – когда мама безгласно отошла, не имея возможности даже пожаловаться или проститься, смущенно оправдывался перед Ритой, говоря, что злокачественная гнойная ангина и в старое-то время да при хорошем уходе почти неминуемо сводила больных в могилу, а уж сейчас... Да еще когда в комнате почти что вечная мерзлота...

Летом она получила свидетельство фельдшера, но ни на какую «чуму» проситься уже не хотелось: чума свирепствовала кругом – как она этого раньше не видела? Почему ей такими счастливыми и вдохновенными еще недавно казались все эти уродливо одетые, темнолицые люди, с опущенной головой спешащие по каким-то мелким крысиным делам вдоль замусоренных улиц в эти круглосуточные пыльные дни¹? Как легко, без особых сожалений, отдала она свое красивое, сытное и уютное прошлое ради этой сомнительной «новой жизни»! Еще год назад Рита в помрачении считала, что временные трудности вот-вот закончатся – и с законной гордостью преодолевшей она станет, многозначительно улыбаясь, вспоминать о них – а потом наступит долгожданная, небывалая, ослепительная жизнь! Но вместо этого Рита заметила однажды, что и она теперь ходит так же, как и все окружающие – глядя себе под ноги и съжившись, словно вечно куда-то опаздывая... Не считая отца, не оставившего по себе ни одного хорошего воспоминания, она уже лично знала четверых вполне порядочных и достойных людей, без следа сгинувших в Чрезвычайке! Она старалась не думать, чтобы не испугаться по-настоящему, и с головой ушла в трудную работу – служила по протекции преподавателя, у которого была когда-то любимой ученицей, в детском хирургическом отделении, где, как ей казалось, главный ужас заключался в безответных ребячьих страданиях, перед которыми отступали все остальные, внешние страхи...

Но не так-то далеко они и отступили. В конце двадцатых годов, когда вдруг начали ссылать за происхождение и «контрреволюцию» старых врачей, ее тоже едва не уволили заодно с ними, вспомнив, чья она дочь, – и потребовав решительно отмежеваться от покойного отца-эксплуататора. Рита отмежевалась – громко и убежденно, на профсоюзном собрании, заслужив одобрительный гуд коллег – а изнутри, несмотря на застарелую нелюбовь к отцу и только неприятные мысли о нем, все равно рокошуще поднялось недовольство собой: отец был плохой человек, мучил жену и дочь – но ведь его *расстреляли*. Вывели в какой-то двор, завязали глаза...

¹ ¹ Декретами Совнаркома РСФСР стрелки часов дважды переводились на час назад.

Впрочем, нет... Это раньше, в благородные времена, так казнили, а его... Скорей всего, он, беспомощный, ничего не понимающий, попал в кровавую бойню, где кругом кричали, молили и проклинали, падая наземь, и он стоял в недоумении и смертной муке вместе со всеми, а потом упал и, может быть, не сразу умер... И вот, спустя десять лет дочь публично отреклась от его памяти, от его боли и ужаса, все, быть может, испушивших...

Чуть позже страх дотянулся до нее опять – это когда родительскую квартиру быстро и жестоко заселили по ордерам, раздав пролетарским семьям все комнаты, кроме детской, в которой Рита как жила с рождения – да так и осталась... Ей иногда чудилось, что их огромная барская квартира с двумя уборными превратилась в городскую окраинную улицу: с утра до ночи прямо под дверью то возникала крикливая перебранка, то плакали дети разного возраста, то звала на помощь избиваемая женщина – и Рита далеко не сразу начала понимать, что никто никакой помощи не ждет... С ней считались и часто даже мыли, когда подходила очередь, вместо нее туалет и ванную, потому что «дохторша» – человек при любой власти полезный и ценный, и лучше ей на всякий случай угодить... Она накладывала бесконечные свинцовые примочки не подбитые женские скулы, ежедневно смазывала йодом детские локти и коленки, щупала вздувшиеся животы, лазила ложкой в гнилые взрослые пасти... Все по-соседски, бесплатно, за почет и вымытый нужник... Возвращаясь в свою комнату, сверху донизу заставленную уцелевшей дорогой мебелью, Рита сразу ложилась спать – чтобы поскорей разделаться еще с одним бессмысленным и тошнотворным днем. Измученная работой, засыпала быстро, а когда открывала глаза, млечное утро такого же невеселого дня было тут как тут... И однажды, уже в начале тридцатых, когда в шесть часов утра с перекинутым через плечо полотенцем Рита ожидала в коридоре своей очереди в ванную, к ней неожиданно подошел сосед – одинокий жилец из бывшего маминого будуара. Его звали Семеном, на своем ремонтном заводе он занимал почетную должность старшего мастера цеха и считал себя безупречным партийцем, в гражданскую довоевался до красного командира в восемнадцать лет, росту был высокого, глаза в глаза с Маргаритой, лицо имел настороженно-волчье, несмотря на гладкую выбритость – сероватое снизу, и дремучие, тускло поблескивавшие глаза – на кухне о нем говорили, как о роковом красавце. Он уверенно дотронулся до руки Риты чуть повыше кисти, и ей показалось, что по коже жестко провели скребком.

- Очень извиняюсь, – откашлявшись, хрипло сказал Семен, ничуть не смущаясь присутствием других соседей. – Но как бы это нам с вами вечерок вместе провести? Тут вот у нас в рабочем клубе концерт намечается по случаю Первомая – ну, и танцы потом, само собой. Да!.. И буфет с пирожными... В общем, это... Культурно все, не как-нибудь там...

Рита презрительно подняла бровь в его сторону – но вдруг ее как прострелило: а ведь это – единственный раз в жизни; больше – никогда; и детей – своих – не будет, до конца дней – только чужие...

- Ничего не имею против, – каменно отозвалась она.

Митенька родился синим мартовским утром тридцать третьего года – и в окно родильного зала колотилась черная на золотом фоне оттаявшая ветка старой липы. Как раз накануне его отец, уже неделю ходивший с почерневшим от неотступного недоумения лицом (на партийном собрании бывшего красного командира вычистили¹ за связь с «чуждым элементом» – матерью его ребенка), получил повестку в Большой дом, куда пошел охотно, горячо обещая «доказать», «разобраться», «дать по шапке» – и не вернулся. Появившись на шестой день дома с туго запеленатым, похожим на завернутую французскую булку новорожденным сыночком, Рита стала объектом всеобщего кухонного сочувствия. Несмотря на то что у них в квартире никого прежде не арестовывали, женщины всех социальных слоев, как оказалось, были прекрасно осведомлены о том, куда нести передачи для сидельца, где справляться о ходе следствия, как писать прошения прокурору – и даже с готовностью вызывались посидеть с бедным дитятей-безотцовщиной, пока несчастная пойдет по этим дополнительным женским мукам – а то родовых мало! За бурный век, минувший со времени бессмертного, но какого-то слишком комфортного подвига декабристок, муки эти усилились многократно и, более того, приняли массовый характер, поэтому никто не сомневался в Ритиной готовности пожертвовать собой ради вызволения отца своего ребенка...

¹Вычистить – исключить из ВКП(б) (жарг.)

Но с ней вновь, как в восемнадцатом году после гибели Осипа Сольцова, приключился непонятный ступор. Рита вспомнила – вернее, никогда не забывала – это первое пьяное насилие над ней, когда Семен молча повалил ее на кучу реквизита в чулане рабочего клуба, одним резким движением почти пополам разорвал на ней нарядную, собственноручно состроченную минувшей ночью кофточку, и остро пахнуло немытым мужицким телом... «Ну чё ты ломаешься... Чё строишь-то из себя... По-простому давай...» – бурчал он девушке в ухо, и это были единственные услышанные ею в те минуты слова, которые заслуженный партиец искренне считал ласковыми и приятными... Позже он не жалел для своей сожительницы затрещин гораздо более увесистых, чем когда-то полученные от отца, и заработать их можно было за что угодно: «Ну чё ты расквохталась!», «Живей копытами шевели!», «Расселась тут!», «Шурши давай, лохудра!» – после любой из подобных фраз немедленно следовал сочный удар в ухо или по затылку, несильный и беззлобный – для порядка, чтобы все добрые люди видели, что Семен свою бабу в узде держит и вообще заботится – без ученья не оставляет...

Поэтому Рита снова не могла горевать – наоборот, из последних сил гасила в себе бодрый огонек радости: никто ей и маленькому теперь не помешает, и молоко у нее от слез не пропадет, как пропало у соседки Нюры, в первый же день после роддома для острастки побитой благоверным... Писать прокурору? А вдруг он возьмет – да Семена выпустит за ненадобностью?! Чтобы не упасть в глазах причитающих соседок, Рите пришлось прибегнуть к непривычной хитрости: однажды она ушла из дома на несколько часов – не отдав им, правда, ребенка, а взяв его с собой, – погуляла в мокром Летнем саду среди голых статуй, неприятно таращивших на нее слепые бельма глаз, и вернулась, солгав на кухне, что отстояла очередь к прокурору; но заявления и передачи, дескать, принимаются только от родственников, а она Семену – посторонняя... На ее счастье это было действительно так: год назад он сам дальновидно отговорил ее от традиционной «прогулки в Загс», разумно мотивировав это тем, что их, как молодую семью, загонят жить в одну комнату, а «лишнюю» жилплощадь – Семенову, что поменьше – отберут в пользу Жакта и заселят новыми жильцами... Логика в его словах, безусловно, присутствовала железная – и подумать о законном браке было страшно: тогда она лишилась бы последнего собственного пристанища, где хоть изредка забывалась от печали...

Но опечатанную комнату арестованного вскоре как ни в чем не бывало распечатали и, выкинув из нее нехитрый скарб бывшего хозяина, снова заселили – одинокой и безработной старой барышней, почти такой же некрасивой, как и Рита. Это могло означать только одно: возвращения Семена можно больше не опасаться... На кухне плакали, Рита ходила с непроницаемым лицом, как римская матрона, что немедленно нашло свое объяснение: несчастная женщина окаменела от горя...

Но она просто боялась выказать неуместную радость!

Довольно и той, которую разрешалось проявлять на законных основаниях: Митенька рос здоровеньким и крепким ребенком, хорошо кушал и спокойно спал, вовремя показывал маме молочную крошечку на нижней розовой дёсенке – первый, второй, третий и четвертый зубик – довольно гулил, забавляясь унаследованными от подросших соседских ребятишек игрушками... В свои сроки он уверенно пошел по светлому паркету навстречу Ритиным раскинутым рукам, с улыбкой назвал ее, ошалевшую от солнечного счастья, мамой, осмысленно ткнул пухлым пальчиком в дореволюционной книжке на «зау», «лисю» и «мишу»... Случалось ему, правда, и устраивать своей матери мгновенный смертный испуг, от которого останавливалось сердце: однажды, расшалившись, сдернул хваткой ручонкой скатерть со стола – а вместе с нею и только что вскипевший чайник, но чудом ни единой капли не попало на его нежную кожу; в другой раз, душным летним вечером уложенный своей матерью на взрослом диване спать у открытого окна, в которое слабо текла влажная прохлада, он проснулся и через спинку тихо-тихо перебрался на широкий подоконник... Рите долго снилось в кошмарах, как она подняла голову от своей медицинской книги и увидела только круглую персиковую попку сына – в то время как ладошки его уже беспечно лежали на теплом покатом карнизе их шестого этажа, и юный исследователь как раз заносил над рамой ножку в трогательных перевязочках, чтобы окончательно перелезть на карниз – но все никак не мог достаточно высоко поднять толстенькое колено... Случилось ему положить себе на язык крупинку марганцовки – успел слизнуть только одну, и то сколько реву было – перед этим счастливо уронив на пол склянку с остальным порошком... Младенцем он выпал во дворе из коляски, когда неожиданно впервые в жизни самостоятельно встал, держась за бортик – и попал головой точно в мягкую кучу осенних листьев, а не на черные булыжники мостовой... Он подавился найденной в углу, должно быть, еще бабушкиной бусиной, но с испугу

споткнулся, упал – и страшный предмет сам вылетел у него из дыхательного горла от сотрясения...

Обо всем этом жутко было вспоминать – и Рита предпочитала думать о том, каким умненьким растет ее мальчик, какая хорошая у него память: вопросы его, пятилетнего, – «А почему, мама, у тети Нюты много мужей, а у тебя – ни одного?» – подчас заставляли его маму неопределенно мычать, наскоро придумывая ответ, а уж стихи он запоминал с лету – и пятилетним, случилось, безо всякого стеснения встав на табуретку в центре кухни, от начала и до конца шпарил без запинки любимый стих про Тараканище, не понимая, почему взрослые, как-то странно смущаясь, прячут глаза, когда он с выражением читает: «Поклонилися звери Усатому – /Чтоб ему провалиться, проклятому...».

Как медик, Маргарита, к тому времени уже прочно «Осиповна», никогда не сомневалась, что отдать ребенка в советские ясли или сад – значит позволить ему переболеть всеми существующими детскими болезнями, и, желая этого избежать, пригласила в качестве няни приличную старую деву по имени Ева, вселенную в комнату сгинувшего Семена и сразу навязавшуюся в крестные. Впрочем, симпатичного, забавного и рассудительного «дохторского» Митю дружно обожала и баловала вся многократно леченная женская половина квартиры – и ему постоянно то совали в коридоре пряники или капустные кочерыжки, то несли прямо в комнату дымящийся кусок свежееиспеченного яблочного пирога. Ева же просто души не чаяла в своем воспитаннике и крестнике, готовая проводить с ним рядом сутки напролет, и ненадолго отлучалась только в тех редких случаях, когда ей вдруг самым положительным образом думалось, что у нее начинается с кем-нибудь долгожданный «роман». Тогда, судорожно отпрашиваясь у хозяйки, она неслась, обнадеженная случайным мужским теплым словом, в очередную «киношку» с мимолетным знакомым – и всегда возвращалась грустная, с глазами «на мокром месте», так и не дождавшаяся приглашения на следующее свидание... В такие дни, если нужно было идти в больницу, фельдшер Маргарита Осиповна без сомнений брала сына с собой на дежурство: в их стерильном хирургическом отделении заразных больных и в заводе не было, а мальчика она решила с детства постепенно приучать к мысли, что он, когда вырастет, непременно станет доктором. Митя никогда не мешал работать добродушно кивавшему персоналу – наоборот, иногда ухитрялся помочь замотанным палатным сестрам быстрее разнести больным порошки, утешал скучавших по родителям выздоравливающих – а потом сладко спал до утра на кушетке в теплой раздевалке у душевой. Присев среди хлопот рядом со сладко посасывающим во сне кончик заштампованной простыни ребенком, Рита чувствовала иногда, как у нее по-настоящему ноет сердце: это оно раздавалось вширь, не в силах вместить и без того огромного, но все растущего и растущего счастья.

3

- Ну вот, Ученик твое первое самостоятельное деланье завершается. Короткий путь твоего подопечного подходит к концу. Трудно ли было работать?

- Нет, Наставник, скорей, приятно: однажды струю кипятка из упавшего чайника отвел в сторону, другой раз целых четыре минуты земного времени держал подопечного за ногу, пока его мать заметила, что дитя сейчас выпадет из окна. Потом выбил у него из рук пузырек с марганцовкой... Ну, еще пододвинул кучу листьев младенцу под голову, когда он вздумал падать на камни, хорошенько потрянул и бросил на пол, чтобы вышибить бусину у него из горла... Да много чего пришлось сделать по мелочам: то кошку лапу с когтями перехватил у самого глаза, то успел задержать электрический ток у кончиков пальцев, едва мальчик засунул в розетку две материнские спицы, то выключил примус за миг до того, как тот вспыхнул бы рядом с ребенком... Всего не перечислить, Учитель.

- Ты заслужил похвалу, Пришедший. Ну, что ж. Скоро тебе держать экзамен перед Высшими, а я буду твоим ходатаем, но сначала... Приготовься к завтрашнему – по их исчислению – дню: исход подопечного – дело едва ли не самое ответственное в служении Хранителя.

День выдался бело-голубой и снегириный. В полдень, когда Рита ходила с сыном в булочную, желая пусть и в мороз – но дать ему чуть-чуть подышать воздухом для закалки, они пересекали наискосок двор бывшей женской гимназии, а ныне обычной ленинградской школы имени товарища Кирова, и задержались перед входом.

- Через два месяца тебе исполнится семь лет, и к осени я запишу тебя в эту школу... – начала Рита, но речь ее пресеклась, а дух захватило: – Митя! – дрожащим голосом выдохнула она. – Ты только посмотри!

Справа от здания, на пышном, сплошь заснеженном кусте, сидело десятка три круглогрудых снегирей. Словно зрелые райские яблоки небывалых размеров, они облепили сверкающие на солнце ослепительные ветки сирени и не торопились покидать их слишком скоро – верно, стоя остановилась отдохнуть на пути к таинственной цели, а звенящая городская стужа нипочем была этим радостным зимним птицам... Мать и сын застыли в почти священном восторге – казалось, сделай одно движение – и миг исчезнет чудо, смажется неизъяснимо красивая живая картина... Сколько продолжалось нездешнее очарование? Секунды мчались и мчались прочь, а волшебные птицы все не улетали – и длилась, длилась мучительно прекрасная бесконечная минута... Их никто не спугнул. Повинуясь какому-то своему, недоступному людям сигналу, снегири вдруг разом затрепетали крыльями – и мгновенным пламенем вспыхнул вздрогнувший куст. Осыпался снег, оголились кое-где ветки. Пропало виденье – но осталось навсегда.

Домой они пришли тихие, счастливо-грустные. Рита стала задумчиво мазать маслом чуть теплую свежую булку; она хотела перед уходом на работу к трем часам сама хорошенько покормить сына, чтоб не оставлять этой заботы няне, вечно проявлявшей мелочную и бесполезную пунктуальность – например, она не позволила бы Мите отломить в свое удовольствие руками хрустящую корочку, как он любил, а стала бы скучно резать батон тонкими ломтиками... Еще, пожалуй, повязала бы ему вокруг шеи детскую салфетку – а ведь он уже большой мальчик, и это ему может быть обидно...

Дверь их комнаты распахнулась, и за полчаса до предполагавшегося времени Ева буквально ворвалась к ним – с широко открытыми горящими глазами и папильотками в жидких бледных волосиках:

- Риточка Осиповна! Риточка Осиповна! – возбужденно выкрикнула она. – Простите, миленькая, – не могу! Позвонил! Сейчас! Только что! Позвонил Аркадий Львович! «Большая жизнь»! Фильм с Бернесом! Билеты взял! Не сердитесь!

Сердиться и невозможно было: Ева работала у них практически без выходных, считалась почти родственницей, и уж конечно, имела полное право раз в пару месяцев потратить несколько часов и на себя... Рита искренне желала ей счастья перед каждым ее заведомо обреченным свиданием – но снова и снова какое-нибудь забавное, но роковое обстоятельство мешало дальнейшему развитию многообещающего Евиного романа. То ее вдруг начинало от волнения тошнить прямо в театре на глазах у кавалера, то она ломала каблук и некрасиво ковыляла, теряя все свое маленькое очарование, то еще какая-нибудь мелкая беда обрушивалась на ее незадачливую головку...

- Конечно, идите! Желая вам приятно провести время с хорошим человеком! – от всей души порадовалась за нее Маргарита Осиповна. – Мы с Митенькой отлично и вдвоем подежури́м, правда?

Мальчик подскочил от восторга: на службе у мамы он чувствовал себя вполне взрослым, почти что доктором – только чуть-чуть подучиться – и даже свой маленький белый халатик у него там был, оставшийся от уволившейся санитарки-лилипучки.

...Когда в полночь мама ушла с хирургами на срочную операцию, Митя осторожно вылез из-под серого солдатского одеяла, укрывавшего его на довольно жесткой клеенчатой койке около душевой. Он взобрался на широкий подоконник, поставив ноги в кожаных тапочках на теплый радиатор парового отопления, и принялся задумчиво смотреть на пустую узкую улицу, тонущую в фантастическом, оранжевом в свете фонарей снегу. Ему не спалось, а мечталось. Почем именно врачом? А если летчиком, как Чкалов? Или, когда папанинцы соберутся на новую зимовку, отправиться с ними – ведь он уже успеет вырасти? А может быть, стать пограничником, чтобы уж наверняка иметь собаку от государства, раз мама не разрешает? Или все-таки хирургом – и вот так же оперировать глубокой ночью, как лысенький толстячок дядя Коля, который сейчас в операционной вовсе не кажется смешным, а уверенно командует басом: скальпель! зажим! дренаж! шить! – Митя пробрался однажды днем в смотровую со студентами, и они, шушукаясь и подсмеиваясь, по очереди закрывали его собой от старенького профессора, который в конце концов рассердился на всех, а Митю вывел прочь за ухо...

Сидеть стало скучно, и мальчик направился в спящий затемненный коридор, где неприятно пахло пресной больничной едой и бродили по стенам тени от редких машин, и принялся слоняться без цели, разглядывая цветные плакаты. «Бе-ре-гись-вшей, – читал он по слогам, напрягая зрение.

– Ди-зен-те-ри-я-бо-лезнь-гряз-ных-рук...» – но и это скоро прискучило. Оглянувшись на тяжело дремавшую под зеленой лампой медсестру на посту и чуть скрипнув высокой дверью, Митя выскользнул на лестничную площадку. Там тоже было окно, и у окна, положив локти на подоконник и склонив на них растрепанную черную голову, стоял кто-то маленький, утонувший в буром казенном халате – только две ножки-палочки в огромных шлепанцах виднелись из-под подола. Услышав скрип двери, фигурка вздрогнула, и сразу тревожно обернулось заплаканное девичье личико. Девчушке было примерно столько же, сколько и Мите, но маленький рост и общая шуплость делали ее, похожую вблизи на обиженного вороненка, младше и беспомощней, что сразу заставило будущего доктора-летчика-пограничника взять над ней снисходительное шефство:

- Чего реवेशь? – деловито спросил он тоном старшего и назидательно добавил: – Спать надо.

- Ага-а, – еще пуще захныкала девочка. – Сам бы спал, если такой у-умный... А меня сегодня выписать обеща-али! И мама... – она протяжно всхлинула. – Мама даже пришла с вещами... А докторша меня ей не отдала...

- Почему? – поразился мальчик, невольно делая шаг к лазаретной пленнице и заглядывая ей в лицо, изрядно измазанное соплями. – Как так – не отдала?

- А потому что я вчера... на сквозняке простудилась и насморк... заработала... – уже спокойней объяснила девочка. – А больных детей не выписывают, даже если швы сняли...

- Ну-у, – совсем по-взрослому протянул Митя и смутно припомнил фразу из давней сказки или стишка: – Это горе – не беда...

Он решительным, скопированным у няни движением, вытер ей слезы и соплю рукой:

- Пойдем-ка, в палату тебя отведу. Поспи все-таки. А утро вечера мудренее, – кстати подвернулось еще одно сказочное выражение.

Мальчик взял девочку за плечи и осторожно повлек в коридор. Она не сопротивлялась. Всклокоченные мягкие волосы пахли деревенским курятником. Медсестра на посту все еще крепко спала.

- Вот, собственно, и все, Ученик. У девочки не простой насморк – а менингококковый назофарингит – так эта болезнь называется у людей, но в ее случае никто об этом не знает. У девяноста восьми человек из ста заразившихся она протекает в виде легкой простуды и дает пожизненную устойчивость к возбудителю – менингококку. Но двое заболевают тяжелым менингитом, и твой подопечный – один из таких двоих. В первой половине двадцатого века лекарства от этой болезни еще не знают, и заболевшие дети умирают всегда.

- Его смерть будет мучительна, Наставник?

- Нет. Ни он не согрешил настолько, ни родители его, Пришедший. Утром он потеряет сознание и к обеду, так и не придя в себя, умрет. Его смертная мука пройдет в бреду, так что не стоит жалеть.

- А его мать?

- Она трех лет не доживет до следующего века – такая длинная жизнь ей отмерена – а дальше я не смотрел: нет необходимости.

- Скажи, Наставник, имею ли я право спросить, что ждало бы его, если б няня осталась с ним дома, – или это слишком дерзко с моей стороны?

- Тайны нет. В таком случае ему просто был бы нужен другой Хранитель, более опытный и проницательный. Намного более. И, скорей всего, с ним бы даже работал Изначальный, потому что вести такого трудней, чем канатоходца... Но здесь, у нас, ему в любом случае уготовано быстрое восхождение...

- Его ждало бы много скорбей и опасностей на земле, Учитель?

- Искушений, Ученик. Суди сам. Обращал ты внимание на того одинокого не очень чистоплотного старичка из дальней комнаты, где когда-то жила горничная? Он спит на полу, на ветхом матрасе, носит одну и ту же пиджачную пару, зимой накидывает поверх старое одеяло, а всю его комнату занимают ящики. Пока мальчику еще рано, но если его няня однажды останется с ним, вместо того, чтобы уйти в кино...

Однажды он доберется до тех ящиков и обнаружит в них книги... Сотни и сотни книг. Старик, у которого в семнадцатом сын и дочь погибли на Западном фронте, младшие дети умерли в Петрограде от тифа, а единственный внук – от голода, этот старик охотно допустит любознательного мальчика до своей сокровищницы. И произойдет это именно тогда, когда

никто, даже самый искусный Хранитель, не смог бы спасти обреченного отрока: ведь гораздо легче помешать человеку упасть со скалы в пропасть, чем низвергнуться в бездну отчаянья. А в такую бездну превратится в те месяцы весь этот город – и полтора миллиона человек, включая и няню Еву, поглотит она. Но старик и дитя, накрывшись одним одеялом и по очереди отщипывая по крошке от стограммового куска влажного хлеба, будут читать при свете чадающего светильника – каждый свое... Вечером Маргарита принесет им в котелке из госпиталя пол-литра замерзшего по пути тощего варева, они разогреют его на маленькой печке, съедят, уступая другому по пол-ложки, – и снова примутся читать – пока не заснут... В той маленькой прожорливой печке сгорит вся оставшаяся в опустевшей квартире старинная драгоценная мебель – но книгами топить ее не станут, Ученик... Так и выживут. У твоего подопечного будут два случая, когда он не умрет только из-за жажды узнать, как выберутся Том Сойер с Бекки Течер из подземелья, и чем закончится эпопея пятнадцатилетнего капитана... Но оба раз подоспеет суп, и с ним – возможность пожить еще. Когда кончится и та большая война, старик перед смертью подарит подростку все свои книги, зная, что только он сумеет распорядиться ими как должно... Но все дело в том, что романы о страстях и странствиях скоро перестанут удовлетворять юношу – и он разыщет для своей новой потребности другие книги. В библиотеке найдутся исторические изыскания, философские труды, богословские трактаты... Он изучит и обдумает Священное Писание, а уже к окончанию школы состоится серьезная проба пера – юный Димитрий втайне напишет блестящее эссе, переосмыслив в свете современной ему жизни учение блаженного Августина...

- Я все-таки хочу услышать, что ты решил, сынок...

Маргарита Осиповна – с короткими седыми волосами, забранными назад под гребенку, заметно ссутулившаяся с возрастом, – стояла спиной к раковине в маленькой кухне их новой миниатюрной квартирке на Охте, выделенной матери с сыном, когда старший, в блокаду пробитый во многих местах и кое-как залатанный дом, через пять лет после войны все-таки был признан аварийным и расселен.

Изо всех сил Рита пыталась говорить спокойно, не дать вспыхнуть своей давно таившейся удивленной обиде на сына. Она так на него надеялась! Учился Митя легко и непринужденно, никогда не прикладывая на занятиях особого труда, – и многие учителя, не таясь, предрекали ей, что из мальчика явно выйдет толк. Любой, даже самый трудный институт, куда рядовому хорошисту путь заказан – как пустое семечко для ее одаренного сына, уверяли они. Вскоре мать поняла, что увлечение медициной осталось для сына далеко в раннем детстве, когда он, бывало, прилагал все силенки, чтобы помочь врачам и сестрам в больнице, и стала подталкивать мальчика к будущей профессии ученого-авиатора. Записывала в кружок авиамоделирования – через неделю он бросал ходить в Дом пионеров: неинтересно. Тогда мать начинала представлять своего ребенка блестящим инженером у кульмана, окруженного восторженно внимающей талантливой молодежью... Покупала дорогие конструкторы – они пылились годами едва распакованные. Водила в Военно-морской музей – Митя вежливо смотрел на витрины, трогал пальцем ботик Петра... И все. Торжественные парады на Седьмое ноября не производили на него никакого впечатления – и становилось ясно, что бравым офицером ему тоже не быть, а потом еще и обнаружилось плоскостопие... Изо дня в день, из года в год наблюдая запойное чтение сына, мать в последние годы принялась утешать себя тем, что, видно, Митенька станет учителем, раз уж ни к какой крепкой мужской профессии не лежит его мягкое сердце. А что? Будет преподавать деткам историю, например, или литературу... Мужчину-учитель теперь редкость – тем больше почет. Но и к возне с младшими ребятами не выказывал он никакой склонности – скорей, сторонился их... Неужели эта его непонятная пассивность, отсутствие твердого стержня и мужского влияния теперь погубит все такие очевидные таланты, превратит здорового и умного парня в рыхлого, ничего не достигшего в жизни мещанина?

- Так что же? – настаивала она, строго глядя в хорошее и правильное юношеское лицо прямо сидевшего за столом Дмитриия, на его непокорную прядку, упрямую, как и сама его крутая макушка, на которой она всегда победительно топорщилась. – Выпускной позади – куда ты намерен поступать?

- Мама, я боюсь, ты можешь неправильно понять меня и не одобрить моего выбора... – смущенно проговорил, наконец, сын молодым звучным баском. – Я решил...

- Я поддерживаю любое твое решение! – горячо воскликнула мать. – Лишь бы будущая профессия была и тебе по душе, и людям приносила бы пользу!

-...стать священником, мама, – твердо закончил он.

Стало тихо.

- Это... шутка такая... да? – через какое-то время выдавила Рита. – Скажи – да? Я знаю, что у тебя очень... своеобразный... юмор...

- Я не шучу, – мягко ответил Митя. – Ты, может быть, знаешь, что в Ленинграде теперь снова открыли Духовную семинарию... Так вот, туда я и...

- Нет!!! – неизвестным доселе ей самой утробным рыком разгневанной львицы взревела Рита. – Ты не посмеешь!!! Ты – этого – не – сделаешь! Сколько попов – расстреляли! Даже твоего отца – коммуниста – репрессировали! Видит Бог – я его не любила!! Но я – не переживу! Если что-то случится с тобой!! – и вдруг, оторвав ладони от раковины, она всплеснула ими и тяжело грохнулась на колени, на крашенные красной масляной краской доски, и никогда не изведенные раньше рыдания рванулись из груди сами собой: – Ну, стань учителем... Ну, что тебе стоит... Учи детей истории... Чему там еще... И будешь жив и здоров... Только не свя... свящ... – слезы захлестнули ее, как волна, в сердце словно воткнули железный кол – и ворочали, ворочали, ворочали – она поникла, оседая на пол: – Я одна растила тебя... Ты у меня... единственный... Никого на свете... Скажи, что ты не... не... Скажи!

Митя тщился поднять свою высокую и угловатую мать, тяжело и нелепо упавшую на подвернутую ногу, но выходило это у него плохо, поэтому оба неуклюже барахтались под раковиной, мокрые от ее слез...

- Хорошо, хорошо, но только не учителем... – растерянно шептал, возясь с нею на полу, юноша. – Потому что я не умею врать... Я, оказывается, совсем не умею врать, мама...

- И он не станет священником, Наставник?

- Нет. Он поступит на философский факультет Университета, но через год уйдет оттуда сам, не выдержав еще большей лжи – и больше никуда не пойдет учиться. Да и чему было учиться ему – там и тогда?

- И никто, никогда не поддержит его? Даже жены у него не будет, Наставник?

- Будет жена, Ученик. Красивая девушка с длинными светлыми волосами полюбит его за необычность, за странную философию, за непонятные стихи, которые он посвятит ее глубоким синим глазам... Она родит ему сына – нескоро, в семидесятом году... А это – уже восемьдесят пятый. Взгляни.

Рано увядшая сухопарая женщина со скорбным ртом и паутинкой частых неглубоких морщинок на худом желтоватом лице, перекинув через плечо длинное вафельное полотенце, привычными движениями перетирала вымытые тарелки. Звучные настенные часы настучали уже половину первого ночи, а будильник в спальне, где, все еще не поднимая головы от письменного стола, сидел ее муж, был заведен на шесть. Но ей кровь из носу надо было покончить с посудой перед тем, как лечь спать: пунктуальность характера в совокупности с тревожностью сердца все равно не дали бы заснуть с мыслями о недовершенном деле – такой уж родилась эта женщина... Ну, а сегодня она припозднилась: просидела с Петрушей за алгебраическими примерами почти до полуночи – сама ахнула, когда глянула на часы. Но не даются парню точные науки – просто беда! Зато сочинения по литературе на шестнадцать страниц пишет, без толку мыслию по древу растекается, и училка, дура, потом их перед классом зачитывает... Сколько раз просила ее не возвращать в мальчишке никаких ложных и никчемных мечтаний, предупреждала, что решила направить сына совсем по другой стезе! Он мальчик – и, значит, должен закончить технический вуз. Она не даст ему пойти в отца и превратиться в бесполезного тюфяка-гуманитария... Сделает его настоящим мужчиной – ответственным человеком с уважаемой профессией, кормильцем, семьянином. Все силы на это бросит – все, все! «Боже мой, Боже мой... – женщина со стоном прислонилась лбом к белому настенному шкафчику. – Хоть бы завтра он дал мне поспать на час подольше и сам бы доделал с сыном уроки... Физику эту проклятую... Так ведь нет – сейчас погоню его из спальни, а он опять на кухне засядет со своими бумажками. И, когда мой будильник прозвенит, *Этот* как раз спать ляжет – и хоть из пушки пали. А что ему? Работает сутки через трое... Ха! Работает...». Уголки ее рта опустились еще горше, брови трагически изломились... «Устала. Устала. Господи, как же я устала...» – прошептала она, не в силах оторвать голову от прохладного пластика.

Позади нее с шумом распахнулась застекленная дверь, и тотчас зарокотал сочный мужнин бас:

- Люся, послушай! – возбужденно говорил Дима, широкоплечий русобородый мужчина, не обращая никакого внимания на то, что жена его изнеможенно стояла спиной, и он мог видеть лишь ее короткие, пережженные перманентом жесткие кудряшки. – Только не перебивай. Я полгода вынашивал, все не понимал, к чему такое в голове вертится, вертится... И вот сейчас – как молния вспыхнула. И я – представляешь – на одном дыхании, только что...

- Труба иерихонская... – глухо отозвалась жена, не поворачивая головы. – Ребенка разбудишь...

- Да он дрыхнет без задних ног... – отмахнулся муж. – Так вот... В общем, зачитаю я тебе сейчас один набросок, но, чтобы было яснее, сначала объясню, что и как. Короче, есть такой сто тридцать восьмой псалом у Давида, и всегда меня, знаешь, царапал этот русский перевод с церковнославянского... Что-то там не вытанцовывалось... Перевели, умники: «Зародыш мой видели глаза Твои»... Да почему зародыш-то, когда в псалме ясно сказано: «Несоделанное мое видели очи Твои». Да не имел тут в виду Псалмопевец никаких зародышей! Тут речь идет, Люся – о сослагательном наклонении, вот что! Глаза Господа видели то, чего я не сделал, но мог бы сделать! – вот о чем пишет Давид, и этот псалом – особенный, он не просто славит величие Божье и утверждает Его вездесущность, но и говорит умеющему слышать, что то, что *было бы* – тоже рассмотрено и оценено Богом! Вот я и написал по этому поводу маленькое исследование Псалтири – так, страниц на восемнадцать-двадцать печатного текста... Сейчас прочту, ты только сядь, стоя неудобно слушать... О, Господи, я и сам оглушен, все в себя никак не приду – да садись же ты, наконец, – не могу же я все время голову задирать!

Люся медленно повернулась к мужу, и на лице ее читалось такое презрение, смешанное почти с ненавистью, что он осекся и озадаченно пробормотал:

- Люсенька, что?

- Что? Что? – шепотом переспросила она, медленно садясь за стол, округляя глаза и неприятно скалясь. – Ты сам не догадываешься – что? Если ты еще не смотрел на часы – так посмотри: на них час ночи! А вставать мне в шесть! В шесть, Дима! Чтобы успеть разбудить нашего сына, на которого тебе плевать, накормить его и доделать с ним уроки! А потом мне к половине девятого ехать на работу, где торчат до полшестого за ЭВМ! И не напутать там ничего, и самой не сдохнуть! И ты при этом собираешься три часа читать мне какую-то ахинею?! Тебе вообще хоть до чего-то в этой жизни есть дело, кроме своих идиотских фантазий?! – под конец женщина сорвалась на визг, сама позабыв о священном сне ребенка.

- Они не идиотские... И вообще не фантазии... – обиделся Дима. – Ты просто не хочешь понять, потому что никогда толком не слушаешь...

- И не буду слушать! – из глаз у Люси вдруг брызнули усталые злые слезы. – И никто не будет ни слушать, ни читать! Потому что ближайшие пятьсот лет это все равно невозможно напечатать! Опомнись, оглянись – на что ты жизнь тратишь! На дворе конец двадцатого века – какие еще псалмы?! Ты любого... вот любого человека на улице останови... Останови и спроси: «Что такое псалом?» – и ни один не ответит тебе, ни один!!! – она уже неостановимо рыдала, закрыв лицо руками и сотрясаясь, но сквозь рыдания все же неслись горькие упреки: – Тебе за пятьдесят перевалило, борода, вон, седая, волосы выпадают! А все, как мальчишка, в котельной за восемьдесят рублей сидишь и бездельничает, я одна вкалываю каждый день в институте и дома! В приличном месте работаю, а хожу оборванкой – порядочные люди смеются! У Петруши одни ботинки на все случаи жизни – а ты статьи на отвлеченные темы пишешь! Которые никому не нужны, и их никто, никогда, нигде не прочтет!!!

- Прочтут, кому надо... И где надо... – хмуро отозвался Дима. – Может быть, не здесь и не сейчас...

- А где? Где? На Западе?! – пуще полились ее слезы. – Ты еще и сесть хочешь вдобавок ко всему, диссидент хренов? Мало тебе того, что ты мою жизнь в грязь втоптал – ты и ребенку ее искалечить хочешь?!

Дима уже не слушал ее – большой, угрюмый и нескладный, он молча собирал с кухонного стола свои исписанные размашистым почерком листы. Сложил в аккуратную нетолстую пачку, постучал ею по столу, выравнивая...

- Я имел в виду – *совсем* не здесь, – тихо сказал он. – И не сейчас – в *другом* смысле...

Его жена махнула рукой и уронила голову на стол.

- Скажи, Наставник, а то, что он писал...

- Он во многом ошибался, Пришедший, как любой человек. Но ошибался он меньше других – вот в чем дело. А иногда – редко, но чаще мало кто может вместить – был и вовсе настолько близок к истине, насколько это вообще возможно для смертного... Он не сражался и не погиб за правду, как мученики, он просто и незаметно потерял все, кроме нее. Его Хранителю почти никогда не пришлось бы спасать его земную жизнь, но вечно ходить за ним над такой пропастью смог бы не каждый. Поэтому менингококк той девочки...

- Я понимаю, Наставник. Еще один вопрос, если позволишь: неужели он не получит при жизни вообще никакого утешения?

- Так не бывает ни у кого, Пришедший. Даже ты получил его в свое время, а твой подопечный... Смотри, что было бы с ним еще через четырнадцать лет, в его последний земной день.

- Было бы, да. Не так уж неправильно он понял тот псалом, Учитель...

- Отец, ты дома? – Петруша открыл дверь своим ключом и дважды щелкнул выключателем.

Свет не загорелся; молодой человек стал осторожно пробираться в полумраке по захлапленному коридору, задел тренькнувший велосипед – и сразу же, как по сигналу, из-за полуоткрытой двери в единственную комнату, откуда тек слабый голубоватый свет, раздался взрыв надсадного кашля. Он толкнул дверь и вошел к отцу.

Дмитрий Семенович сидел в большом покойном кресле под торшером и тяжело, с хрипом и свистом, дышал. В комнате стояла влажная духота, но окно было не только закрыто, но еще и тщательно законопачено грязным рыжим поролоном. Петруша заметил, что даже за те полмесяца, что он не навещал своего больного родителя, тот еще больше исхудал и опустился: всклокоченная борода, вся в перьях от подушки, падала на грудь, остатки серых волос сваялись, гноился правый глаз... На плечи его был накинут теплый клетчатый плед, но старик все равно зябко ежился и потирал руки, как на морозе. По обе стороны от кресла стояли деревянные табуретки, одна из которых была сплошь заставлена пузырьками и коробочками с лекарствами, а другая гордо держала на себе неровную стопку книг и множество испещренных записями блокнотных листочков, придавленных, будто пресс-папье, граненым стаканом в подстаканнике. Молодой человек сел на тахту:

- Ну, как ты, папа? – спросил он нарочито бодро. – Все еще кашляешь?

- Не разговаривай со мной, как с маразматиком! Терпеть этого не могу! – прохрипел отец, и в груди у него грозно забулькало. – Ты прекрасно видишь, что настали мои последние дни.

Петя не умел бездействовать никогда, а сегодня ему еще и было стыдно из-за того, что он так долго не приходил к старику:

- Тебе нужно срочно в больницу. Вот что: сейчас я позвоню в «скорую», и они обязаны будут тебя госпитализировать!

Дмитрий Семенович протестующе поднял руку:

- Ни за что! Не могу больше в больницу. Там только мучают, а легче не становится... Да и нет таких лекарств, чтобы я перестал задыхаться. Видишь ли... Я прозадыхался всю жизнь – дома, на работе, среди знакомых – хотя и дышал тогда еще полной грудью. Теперь я умру от того, чем невидимо страдал все эти годы: задохнусь по-настоящему, явно для всех. Знаешь, я даже рад, что Бог посылает мне именно такую смерть.

- Нельзя так говорить! – наставительно сказал Петя, хотя у него и мелькнула странная мысль: а ведь это правда, как ни страшно звучит; но согласиться вслух было невозможно, и он сам почувствовал, как фальшивы его слова: – Тебе надо лечиться регулярно – вот и все. Хотя бы лекарства вовремя принимать...

Отец посмотрел на него с усмешкой – и опять надолго закашлялся. Продышался и попросил:

- Передай-ка вон ту прыскалку... Мне самому не дотянуться...

Петя взял в руки пульверизатор, посмотрел, возмутился:

- Папа! Ведь этот препарат применяют максимум два раза в день – утром и вечером! Потому что возникает привыкание, и можно просто подсесть на него! А ты в который раз сегодня собираешься?

- Не считал. Да это уже не имеет значения... Человек слаб – никто не хочет умирать в мучениях. В смысле – в слишком уж больших мучениях.

Сын покачал головой, но флакон больному протянул.

- Сменим пластинку, – сказал старик, после того, как с наслаждением вдохнул лекарство. – Как мама? Мужем своим довольна?

- Ты все двенадцать лет каждый раз спрашиваешь, – пожал плечами Петя. – Сам знаешь, что довольна. Когда был у них последний раз – она нахвалиться не могла: и деловой, и с руками, и головастый он у нее... – Петя помедлил. – Тьфу.

Дмитрий Семенович повернул голову и внимательно, почти пронзительно глянул на сына, легонько хмыкнул, приподняв бровь, – но ничего не сказал. Помолчали минутку, и молодой человек решил сказать:

- Папа... а моя книга... Ты нашел время... или...

Больной молчал, поджав губы и мелко кивая головой, наконец, вскинул ее, и сын поразился ясности и твердости отцовского взгляда:

- Видит Бог, – медленно и тихо заговорил отец. – Видит Бог, я сделал все, чтобы ты писателем не стал. Я считал это своим долгом, но Он... У Него, вероятно, на тебя какие-то другие планы. Потому что ты – писатель, и никуда от этого не деться. Я читал твой роман запоем. Наплевать на горячий максимализм, на недостатки стиля... Это уйдет. Но ты, сын, написал – Трагедию. И мне остается только благословить тебя.

- Папа! – Петруша вскочил и взволнованно забегал по комнате, сам от себя пряча вдруг жарко поднявшиеся слезы. – Но ведь ты всегда так ругал меня... Говорил, что ничего из меня не получится, убеждал заняться каким-нибудь «настоящим» делом... А теперь...

- Это и есть твое настоящее дело – но оно в конце концов разрушит твою жизнь, вот в чем беда... Я боялся за тебя, сынок – просто, как отец, боялся за свое дитя... – прошептал, опустив голову, больной. – Я не хотел, чтобы ты повторил мой каторжный путь – без друзей, без признания, без понимания со стороны самых близких... Я мечтал для тебя о хорошей семье, работе... Простой, чистой и счастливой жизни, любящей жене...

- Ася любит меня, – быстро вставил Петр.

- Не сомневаюсь... – отец опять обхватил фиолетовыми губами горлышко пульверизатора, перевел дыхание, лицо чуть порозовело. – Она милая и умная девочка, но... Дай-то Бог, чтобы этого не случилось, конечно, но ты должен быть готов к тому, что и она не выдержит...

Он выжидающе посмотрел на сына, предполагая возражения – но Петя горько покачал головой:

- А я готов, папа... Давно готов – с того момента, как сел за самую первую рукопись... – он поднялся: – Знаешь, сейчас я должен бежать в садик за дочкой, но завтра мы с Асей...

Дмитрий Семенович махнул рукой:

- Конечно... Постой-ка. Наклонись – перекрещу. И вот что... Не сегодня, а потом... Совсем потом... Ну, ты понимаешь... Ты скажи ей когда-нибудь... Ну, дуре этой... Что я ее одну в жизни любил. И сейчас люблю. Как в день свадьбы.

- Как видишь, Ученик, такая жизнь под силу только титану. Нет, двум: второй – тот безумный Хранитель, который согласится работать с ним.

- Да, Наставник. Тут нужна отчаянность. Та, которая в хорошем смысле.

- Тебе-то откуда знать? Ты делай, что велено: проследи за менингококком, потом прими подопечного как должно – тебя учили... По Мытарствам ему не идти – он младенец, так что все просто.

- Он станет одним из нас, Учитель?

- Не думаю. Скорей, Высшие решат учить его другому – но то не наша забота. Жди меня завтра по земному времени – я приду поддержать тебя, когда ты предстанешь перед Советом... Ты понял? Что ты молчишь?

- Да, Наставник. Прости, я опять задумался.

4

Ни Мишутка, ни Васятка своих матушек, конечно, не послушали. Оба одинаково ввалили им, что бегают на реку с другими соседскими отроками, и проверить их матери, разумеется, не могли. Был у них придуман особый ясак¹, для вызова друг друга со двора по-хитрому, чтобы ни мамки, ни челядь не заметили: весной еще оба они, шутки ради скоморошествова,

¹ Ясак – условный сигнал (арх.)

выучились на свободе грать по-враниному¹, так что теперь, как только раздавался у кого-то из них за забором надрывной грай, будто смелый кот прихватил зазевавшуюся ворону, мальчишка тут же срывался с места и, запихивая за пазуху любую състь², до какой удалось дотянуться, бежал на улицу, не обращая внимания на ворчливую ругань мамки. Правда, мамки у обоих были уже старые и особенно за ребятами не ходили, считая их почти за отроков, коим дозволено гулять по своей воле.

Местом встречи всегда назначалась негустая осиновая роща над речной излучиной и, накупавшись до зубовного стука, синие от ледяной воды, ребята с наслаждением садились голыми на упеченке³ и честно делили меж собой, кто что принес из дома пожевать на пабедье⁴...

Июль уже готовился перетечь в август, а жары стояли прежние – и, если б не река с ее черной прохладой, то совсем бы беда, согласно думали юные друзья, жуя уже чуть подванивающего от жары осётрика вперемешку с первыми, еще незрелыми яблоками. Они знали, что под вечер у обоих прихватит животы, – ну, да то дело было привычное, случалось, и белые черви то у одного, то у другого из задю вылазили – никто в том беды не видел... Лишь бы хвост осетрика, под носом у мамки Орины с ледника ловко выкраденный, доест поскорей, пока совсем не провонял... Огрызки яблок они кидали в реку – кто дальше – потом, откинувшись на мяскую траву, безмолвно глядели в небо, задремывали...

- Где-то там батюшка мой обретається? – задумчиво проговорил Васятка. – Видит он меня сейчас, Михайло, как думаешь?

- Знамо дело, видит, – убежденно отозвался его дружок, приоткрыв один глаз. – И как ты у дьяка из сада яблоки воровал – тоже, – в его хитром зеленом райке играли искорки.

- И это?.. – упавшим голосом пробормотал паренек. – Ну, все тогда... Как встречусь с ним на небесах – точно возжжой отделаает...

- Когда ты на небеса попадешь, ты и сам уже во какой большой будешь... Пусть попробует! – утешил Мишутка. – Да и забудет он. Нам с тобой до этого еще знаешь сколько...

Позади них в густых кустах ольшаника послышалось как бы слабое скуление, и ребята враз обернулись.

- Кутёнок⁵ там, что ли? – заинтересовался Мишутка и, не раздумывая, бросился раздвигать ветки. – Ишь, плачет, малой...

То был не кутёнок. Под густыми ветвями сидел и дрожал молодой черноногий лис, смотрел на людей затравленными желтыми глазами – и плакал. Во всяком случае, жалобная морда его была мокрым-мокра. Мальчик осторожно протянул руку, готовясь к тому, что зверь отдернет голову и умчится, но тот покорно, как добрая собачка, подставил шелковый лоб под человеческую ласку и даже как бы подался вперед.

- Ух ты, ручной! – восхитился Мишутка и, присев рядом с ластящимся животным, принялся наглаживать его. – Кушать хочет. А мы рыбку-то сами съели... Экие шалыги⁶!

Сзади опасливо подобрался Васятка, вытянул было палец, чтобы потрогать серый от жары лисий нос, но отдернул руку:

- А не бешаной он, часом?

- Да не пес же он, чтоб ему бешаному быть, – резонно возразил друг. – А коли и был бы, так кусался бы и пеной почем зря исходил. У нас, когда у соседа собака сбесилась, так она ему, прежде чем околеть, во дворе всех котов и кур передрала и даже из челяди кого-то укусила... Я в щелку смотрел – и то страшно. А этот... Хворый просто... Надо его к дому поближе

¹ Грать по-враниному – каркать, как вороны (арх.)

² Състь – пища, еда (арх.)

³ Упеченка – солнцепёк (арх.)

⁴ Пабедье – второй завтрак (арх.)

⁵ ¹ Кутенок – щенок (арх.)

² Шалыга – дубина (арх.)

перенести и выходить... Во! Знаю, куда! В заброшенный амбар! Я ему ужю курятину туда носить буду, – мальчик с нежностью склонился над больным зверем: – Лисенька-лись! А, лисенька-лись? Пойдешь с нами в амбар курочек кушать?

Лис лънул к нему, всем своим видом выражая полное согласие. Кряхтя, ребята вдвоем подняли тряпкой повисшую у них на руках лисицу и, хоронясь от взрослых, по-за домами затрусили в старый обвалившийся амбар. Васятка вызвался сбегать за куском мяса, потому что домашнее воровство выходило у него как-то ловчей и безнаказанней, а Мишутка кинулся в свой двор и молча унес у изумленного дворового пса из-под носа полную плошку воды. Примчался в дырявый амбар, плюхнулся на колени перед мелко подергивающим всей клочкастой шкурой зверком:

- Лисенька, видишь, как я быстро... Пей, миленький! – и он стал совать плошку к понурой морде.

Но лис не пил. Наоборот, он напрягся и начал судорожно сглатывать – не воду, а воздух, будто давился костью. Глаза его смотрели мутно и трагически.

- Э, да я вижу, ты совсем плоха, скотинка несчастная... – искренне огорчился Мишутка. – Почто не пьешь? Надо, друже, – жар у тебя... – запрокинув лисице голову и зажав ее локтем, он принялся обеими руками раздвигать стиснутые челюсти, намереваясь влить воду в пасть силой.

Дикий лесной зверь одним движением вывернулся, в дремучих глазах его мелькнула мгновенная злоба – и мощные белые клыки быстро сомкнулись на детском запястье. Брызнула кровь, мальчик вскрикнул, прижимая руку к животу:

- Вот ты какой... – обиженно прохныкал он, глотая подступающие от боли слезы, но природная доброта пересилила: – Дурашка...

Ветхая косая дверь распахнулась, в солнечной полутьме возник деловитый Васятка – и рубаха у него над поясом недвусмысленно оттопыривалась: мясо было добыто.

- Что тут? – испуганно спросил он, увидев пополам согнутого дружка. – Цапнул все-таки?

Мишутка кивнул, удерживаясь от плача из чистого молодечества. Руку ему они туго перевязали вдвоем – как раз той подобранной во дворе тряпницей, в которую был аккуратно завернут Васяткой кусок недоваренного мяса, борзо утянутый им прямо из кипящего чугунок.

- Заживет, – сурово успокоил он страдальца. – Ты вот что: рукав-то у рубахи вниз раскатай, чтоб Орина твоя или, хуже, матушка не заметила. Я тоже однажды локоть распорол – о сук – во была раница! – и только малый рубчик розовый остался... Помнишь, это на Петровках¹ было – а теперь хоть бы что...

Покончив с перевязкой, ребята дружно обернулись на виновника. Лис не шевелился, лежал, вытянувшись, на соломе; в чуть оскаленной пасти тусклым жемчугом поблескивали белоснежные зубы, меж полузакрытых век грязно-перламутрово отсвечивали мертвые белки глаз...

- А давай его на большой муравейник за Москву-реку оттащим? – с ходу предложил неугомонный Васятка. – Когда мураши с него всю мертвечину объедят, мы его кось-главу² на палку вденем и Парашку с Любавкой до поноса напугаем...

- А ведь и правда, чего добру пропадать, – загорелся Мишутка. – Сейчас и пойдём, пока обедать не кличут.

Рука у него уже почти не болела, да и не видел он ничего особого в случайном лисьем покусе: сколько раз его собаки дворовые – свои и чужие – со злости за икры хватили, да и босыми ногами на что только не наступал! Иногда ему мамки гной выпускали для облегченья, да отваром романовой травы³ измывали оцур⁴, а чаще – само проходило... Вон, у холопчика Егорки уж куда как худо было дело: ему бабка из струпа зудящего, что на лбу торчал, живые мушьи личинки выковыривала – и то зажило, как на кошке... Некогда

¹ Во время Петровского поста, до 29 июня по ст. стилю.

² Кось-глава – череп (арх.)

³ Романова трава – ромашка (арх.)

⁴ Оцур – открытая рана (арх., диал.)

горевать – пока теплынь стоит, пока вода в Москве-реке не замерзает, пока зрелая малина в садах так и падает в ладонь, оставляя на ветках короткие белые стерженьки, пока дожди еще в радость, а ночи стоят душистые...

Мишутка и думать забыл о неприятном случае – уж к Успенью¹ и корочки отвалились со следа лисьих зубов, оставив на память кучные красноватые пятнышки – да то не единственная его признашка² была, и посерьезней имелись метки... Вспомнил он о давнем укусе лишь во время торжественной обедни, изнывая в церкви от духоты в своей праздничной, под горло застегнутой рудо-желтой³ рубахе, рядом с прямой и гордой, нарядившейся басы ради в платье из дикой венецианской камки⁴ матушкой... Зажившую рану отчетливо покалывало изнутри – пришлось зажать руку под мышкой, но легче не стало – наоборот, приспело и жжение. Такого никогда до сих пор не случалось, и Мишутка грустно подумал, что и у него, должно быть, под свежей розовой кожицей завелись жирные желтые личинки – не миновать теперь длинной кривой иглы, как холопскому Егорке...

В последний раз подошел он к Причастию без исповеди вместе с младенцами: знал, что по осени сравняется ему семь годов, и кончится воля, придется перед духовным отцом за каждую чужую ягодку ответ держать – каково, а? Мальчик закручинился, а руку все дергало, непонятная тоска тихой сапой заползала в сердце – и поначалу он ее никак с той давней раной не связывал...

За обедом есть не хотелось. Напрасно Орина соблазняла его присланным батюшкой с купли виноградом – целых пять кистей еще утром доставили вкупе с другими гостинцами – Мишутка сидел снулый и сонный, в голове стоял отдаленный звон, по плечам бегали мурашки.

- Докупался, – шершавая ладонь мамки провела ему по голове. – Горишь ведь! – и она немедленно послала за матушкой, что в горнице угощала ради праздника духовного отца своего с попадьей Настасьей.

Она пришла как была, пощипаная⁵ и веселая, присела на корточки перед печально сидевшим на лавке сыном, жемчуга на очелье⁶ ее убора блестели, будто зубы мертвого лиса. Хотелось плакать, как маленькому, болела спина...

- Вели уложить меня, матушка... – попросил он.

- Простыл, дитяtko? – ласково спросила мать, отбрасывая ему волосы со лба и рассеянно ероша их: – Ишь, оброс... Как встанешь – остричь велю... И впредь купайся поменьше.

- Все это лис окаянный, матушка, – пожаловался Мишутка, смутно уловивший связь между жжением в старой ране и нынешним своим недомоганием. – Верно, червячки под кожей завелись. Ты накажи Егоркиной бабке их повытянуть, а я ничего – потерплю...

- Какой еще лис? – насторожилась Мария.

- Который сдох, – объяснил ей сын. – Но перед тем кусил меня дюже. Мы с Васяткой руку ту трунью перевязали, да ранка и зажила... А сегодня в церкви как начало в ней печь! И по всем удам⁷ так жар и растекается...

Она отпрянула, не удержалась на весу – и жалко плюхнулась на гузно. Мишутка изумился тому, как быстро с лица матери стекала вниз природная розовость, руки ее судорожно поднялись к горлу – и она все не могла сделать настоящего вдоха.

¹ 14 августа по старому стилю

² Признашка – отличительный признак, метка (арх.)

³ Баса – красота (арх.)

⁴ Дикая венецианская камка – серо-синий венецианский шелк (арх.)

⁵ Пощипаная – нарядная (арх.)

⁶ Очелье – часть женского головного убора, соприкасающаяся со лбом и щеками (арх.)

⁷ Уды – части тела (арх.)

- *Государыня*¹! – *заквохтала мамка. – Не зашиблась ли? Братчина*², что ль, в ноги кинулась?

Мария тупо посмотрела на нее помутневшими глазами – и опять вспомнился мальчику околевший лис. Она так и сидела на полу, отмахиваясь обеими руками от мамкиной помощи, но вдруг спохватилась и начала выкрикивать:

- *В Немецкую слободу*³!.. *Сейчас пошли!.. Сейчас!.. Лучшего лекаря немчина сюда!.. Искуснейшего! Вот... вот... – она принялась стаскивать с пальца что-то сверкающее. – Жуковинье*⁴ *возьми... С лалом*⁵... *Только скорей чтоб! Только скорей!*

Старуха-мамка, поначалу забормотавшая было о том, что из-за легкого озноба на лекаря тратиться – хозяин зашибет, но, узрев протянутую драгоценность, миг схватила ее и, на ходу пряча в складках старого летника, с великою борзостью ринулась прочь из полатки.

Лекарь, не старый еще человек, одетый в странные темные одежды – узкие порты и короткий кафтанчик – был гладко выбрит, так что лицо его смотрелось совсем как гузно с глазами. По-русски он говорил прекрасно, только чуть-чуть чудно, и сразу принялся расспрашивать Мишутку – но тот едва мог отвечать: отчего-то сводило челюсти, и в горле появилось неприятное чувство застрявшего куска, который никак не глотался, сколько ни пытался парнишка то выкашлять, то силой продавить его внутрь. Потом немец долго и больно жгал твердыми пальцами на розовые рубцы – и, наконец, поднялся, хмурая кустистые брови. Некоторое время он молча простоял над Мишуткиной постелью, губы его сложились в узкий, задумчивый, смешно ходивший туда-сюда хоботок. Из-за суконного плеча виднелись только черные глаза матери, отражавшие пламя всех четырех лучин, которыми ради лекаря осветили спальню – но свет сегодня был чем-то ужасен для мальчика, он болезненно жмурился и прятал лицо под перину.

- *Воды, – коротко потребовал немец и, немедленно получив из рук мамки детскую кружечку, поднес ее к губам больного:*

- *Пей, Михайло.*

Мишутка и не знал, что у воды есть запах! Ничего отвратительней он не вдыхал отроду – но глотнул через силу – и вода пошла обратно... Лекарь убрал кружечку и резко оборотился к Марии:

- *Государыня, у вас есть еще дети? – голос его походил на пронзительный птичий крик.*

Мишутка смутно, уже нехотя удивился: почему, коли матушка одна, лекарь обращается к ней, будто их две, – и все потонуло в тягучей судороге, прошедшей от головы к ногам. Мария опустила голову:

- *Нет. Была еще Марфинька...*

- *Это прискорбно, – равнодушно сказал немец. – Потому что вашему сыну врачебная наука помочь бессильна. Та лисица, что укусила его, была бешенная, и зараза попала ребенку в кровь. Если бы он сказал сразу... Можно было бы поставить кровососную банку и попробовать оттянуть больную слюну... Но теперь... В вашем возрасте еще могут быть другие дети.*

Пока он говорил, Мария не переставая мотала головой, а когда замолчал – горько улыбнулась:

- *Нет. Я уж давно не брюхатею. И, ежели Мишутка мой теперь преставится, то я и сама себя живота лишу.*

- *Тогда вы больше с ним не увидите, – таинственно отозвался лекарь.*

Мария снова замотала головой.

¹ Обращение не только к царице, но и просто к хозяйке дома, имения.

² *Братчина* – хмельной напиток из меда (арх.)

³ Район проживания иностранцев (ремесленников и различных специалистов) в Москве.

⁴ *Жуковинье* – перстень (арх.)

⁵ *Лал* – рубин (арх.)

- *Послушайте, – продолжал он. – Зрелище будет тяжелым. Вам лучше не видеть – такое даже для меня трудно. У мальчика не получилось сделать ни одного глотка воды – значит, я не смогу напоить его и сонным отваром, чтобы страдания свои он прошел в беспмятстве. Но напиток пригодится вам, государыня. Для вас будет лучше опочивать, потому что вы сыну ничем не поможете... Этот маковый отвар дает на время забвение, подобное смерти.*

И тут Мария кинулась на лекаря, как медведица:

- *Опочивать?! Опочивать?! – дико взвyla она ему в лицо. – Когда дитё мое единое смертную муку принимать будет?!*

Легко отшвырнув лекаря, она рванула с головы убор и простоволосая бросилась на колени перед Мишуткиной лавкой, накрыла собой его сотрясавшееся тельце:

- *Дитяtko мое! – взревела она, терзая рассыпавшиеся волосы. – Насилу свет от слез вижу! Чрез меня, твою мать окаянную, пришла тебе пагуба! Иудин грех совершила из зависти – под дыбу подвела Мавру-подружью! И как мне теперь в том каяться?! Коль и церковь поставлю обыдённую¹ – не отмолить греха такого! Мишутка, свет мой ясный, – лучше б, как отец твой меня, брюхатую, чоботами² колотил – мне б с тобой вместе да убиенной бысть, чем тебе на головушку безвинную смерть лютую призвать! Ты с собой теперь возьми меня – туда, куда уходил от матери! Укуси меня за персты, что извет на Мавру писали, чтоб я тоже бешиной стала и в мученьях скончалась! – и, помутившись разумом, Мария поднесла руку ко рту метавшегося мальчика.*

Мамки оттаскивали ее; позади бритый лекарь тихо давал сбившейся в кучу у дверей челяди быстрые распоряжения:

- *Свет уберите совсем, оставьте только за дверью. Принесите хорошие вожжи: мальчика сейчас придется связать и взнуздать, иначе он скоро начнет кусаться и станет для всех опасен, – он обернулся на Марию, пожал плечами: – Эти москвиты... Сколько живу здесь – а все никак не привыкну к их варварским нравам...*

...К утру больного развязали: он почти успокоился – лежал тихо, дрожь проходила по телу все реже и реже, обильно текла слюна – уж все подгололье насквозь промокло – и мать его стояла на коленях, уткнувшись туда лицом, стиснув зубами перину и порой издавая тяжелый стон. Сквозь узкие слюдяные окошки оранжевело последнее Мишуткино солнце.

- *Она тоже, вероятней всего, сбесится, – сказал немец Орине, кивая на распростертую Марию. – Укус для этой заразы не обязателен, слюне бешеного достаточно попасть другому в рот, а она изжевала всю мокрую простынь.*

Орина беззвучно заплакала, утираясь концом повоя³. Но Мишутка вдруг очнулся, приподнял восковые веки и почти неслышно позвал матушку. Она вздрогнула и подскочила, щупая его лоб:

- *Что?! Светик мой ненаглядный – неужто полегчало тебе? – с безумной надеждой она обернулась к лекарю и мамке: – Ему лучше! Смотрите – жар-то спадает! Простил меня, значит, Господь?! Умолила его Мавра-мученица?!*

Бритый черный человек бесстрастно покачал головой:

- *Нет, государыня. Мальчик не может выздороветь. Но теперь он будет спокоен и, может быть, даже съест хлеба и выпьет воды. Так всегда бывает при этой болезни. Перед самым концом Бог посылает утешение.*

- *Что случилось, Ученик? Ты где-то допустил ошибку?*

- *Нет, Наставник, ошибки не было.*

- *Неужели Еве не позвонили? Да нет же – я вижу того человека: вот он опять набирает номер.*

- *Учитель, я тоже видел его. Но... Ведь ты же сам – помнишь? – научил меня, как переломить телефонный провод...*

¹ Обыдённая – построенная по обету за один день (арх.)

² Чоботы – сапоги (арх.)

³ Повой – род платка, ниспадающего из-под женского головного убора; покрывал шею и плечи (арх.)

- Ты... сделал так, чтобы няня не услышала звонка? И не испугался гнева Выших? Но что заставило тебя?

- Я тоже достиг своей критической массы, Наставник. Я негодный Хранитель и не прошу прощения – знаю, что это бесполезно. Моя вина велика, и я готов нести любую кару – но... после того, как пройду с моим подопечным до конца... Возможно ли это? Ты молчишь, Учитель?

- Я нем от восхищения Пришедший. Ты еще не понял? Это и был твой экзамен – здесь он суровей, чем на земле. Ты – прирожденный Хранитель, и не ищи другого служения. Отныне ты больше не Ученик мой, а полноправный Соратник.

- Наставник... Я так ошеломлен, что не знаю, что сказать.

- Не говори, а действуй, Соратник: пока ты отвернулся от подопечного, **те** уже надоумили его схватить острые ножницы... Впрочем, смотри сам: отныне ты один за него в ответе.

- Отложи ножницы в сторону, Митя, и сядь прямо.левой рукой не забудь придерживать тетрадь. Вот так. Нет, не смотри на мамину чернильницу: ты еще и карандашом-то не научился

п и с а т ь к а к с л е д у е т .
- Ну, тетя Ева...

- Я сказала: нет. Возьми карандаш правильно. Готов? Начинаю: мы-не-ра-бы... Не надо писать так размашисто.

- Тетя Ева, я забыл рассказать: мы с мамой сегодня, когда шли из булочной, видели...

- Потом, Митя. Написал? Не-ра-бы... Не сутулься, подними голову... Ра-бы... Ну, вот теперь красивее получилось... Давай дальше... Ра-бы-не-мы... Смотри в тетрадь... Митя, смотри в тетрадь, я говорю...

- Это они... Тетя Ева, это они!!! Те самые, красные!.. Как высоко залетели – прямо на наш тополь! Тетя Евочка, смотрите!!! Сколько их! Кругом зима, а им хоть бы что!

- И правда – как красиво, Митя! Я, вообще-то, зиму терпеть не могу – холодно, все белое кругом, вечные простуды... А вот они прилетели – и просто какое-то... Даже не знаю...

- ...утешение, тетя Ева. Без этого никак.

31 июля 2016 г.

Новый Иерусалим